

Вячеслав Киктенко
Певчий Гад



Вячеслав Киктенко

**Певчий Гад. Роман-
идиот. Сага о Великом**

«Издательские решения»

Киктенко В.

Певчий Гад. Роман-идиот. Сага о Великом / В. Киктенко —
«Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-514579-6

Всплыл из древних глубин Неандертальства образ Великого. Великого Певчего Гада. Затёртого временем, размеренной, «правильной» жизнью. Может, вытасчен был из областей междумирья кривовато, как иногда вытаскивают «неправильное дитё» из чрева? Переменилась обыденная жизнь. Сны ушли в день, дневное переместилось в ночь.«...и стал водолазом, ловцом диких снов,И стал земноводным в долинах проточных:Ночным разрушителем денных основ,Дневным соглядатаем знаний полночных...» Книга содержит нецензурную брань.

ISBN 978-5-00-514579-6

© Киктенко В.
© Издательские решения

Содержание

Певчий Гад	7
Женщина. Сосуд ненасыщаемый	20
ЛИСТВА – ИКОНА	28
ВОЗРОЖДЕНИЕ, ВОЗРОЖДЕНИЕ!	29
Пустыня	30
Конец ознакомительного фрагмента.	65

Певчий Гад

Роман-идиот. Сага о Великом

Вячеслав Киктенко

© Вячеслав Киктенко, 2020

ISBN 978-5-0051-4579-6

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Вячеслав Киктенко.
8-906-732-92-45 – моб.
8-499-164-02-69
a6789@yandex.ru

Вторая часть романа «НЕАНДЕРТАЛЕЦ»:

Певчий Гад
Сага о Великом
(Сохранившиеся отрывки из жизни и творчества
Великого. Просто Великого)

Часть первая. Три короба.

Много звёзд, солнц, а ещё больше лун сменилось, пробежало по моей размеренной, расчисленной на дни и ночи жизни, пока не грянули времена.

Когда занырнул...

Не свою волею занырнул, но по большой печали вошёл в чужой, не слишком уютным оказавшийся запердел. После нескольких тяжелейших операций, когда вытаскивали с того света, вызволяли подвешенного на ниточке между мирами, переменялся не один только образ жизни, весь мирообраз. Приоткрылось нечто, прежде смещённое в темноту.

Вдруг, словно вспыхнув на резком свете, это нечто проступило рельефно, осязаемо. Что это было, осознал не сразу. Но всматривался пристально, всё внимательнее вглядывался в это нечто, пока, наконец, очень медленно, постепенно не стал проступать всё более явный, вполне реальный и, как оказалось, хорошо знакомый образ.

Вот так он и всплыл из глубин – образ Великого. Образ сильно затёртый временем, размеренной, правильной жизнью.

Может, вытащили меня из областей междумирья неправильно, кривовато, как порою родовспомогательница вынуждена вытаскивать «неправильное дитё» из чрева —

не тем местом? Не знаю. Прежние сны ушли в день, дневная жизнь переместилась в ночь. Долгие сонные дни и бессонные ночи, проведённые в лазарете, незаметно перешли вместе со мною в мой дом...

Я сделался сновидческим свидетелем дневной жизни и, одновременно, расхитителем ночи. Спал днём. Бодрствуя же, иногда записывал невольно похищенное...

*Я стал водолазом, ловцом диких снов,
Я стал земноводным в долинах проточных,
Ночным разрушителем денных основ,
Дневным соглядатаем знаний полночных,
Фигур запрдела...*

Фигура запрдела

Самой крупной фигурой запрдела оказался... идиот. В самом классическом, эллинском смысле идиот – частный человек, вне партий. И даже, как выяснилось, вне сословий. Просто человек. Идиот. Вроде бы никто, ни то, ни сё. А выяснилось, по прошествии времени, по воспоминаниям современников, по собиранию архива – и то, и сё. Вот об одном из таких, Великих Идиотов, сложилась Сага. Из моих записей, из его «архива». Так его и станем величать – Великий. Просто Великий.

...оказалось со временем: здесь, на земле, в крохотном сегменте мироздания таинственными и непредсказуемыми оставались одни только чудачки, блаженные, юродивые. Остальные – прозрачневели, становились всё более опрозрачены смыслами, Рацио, Цифрой. Чудачки жили Словом. Старым, как мир, пахучим, как осенняя яблоня, Словом...

Не обломки даже, обломочки остались от жизни Великого. Велик он был всем – неординарностью идей, дикостью поступков. Даже неизбывной глупостью. Но и таинственной мудростью, не всем сходу видимой. Обнаруживали её – с изумлением для самих же себя! – только с годами... и то лишь более-менее знавшие его, кое-что понимавшие в жизни.

В чём феноменальность Великого? Ну, об этом вся книга. Не назову имени-отчества-фамилии, которые у него, конечно же, были.

Возрос в образцовой советской семье: отец геолог, мать соцработник, старшая сестра, благополучно женатая, училка...

И все они не просто не любили Великого. Как бы это выразиться?.. Не любили, как, возможно, не любят неординарную и потому мало понятную частичку в атоме. Ну, вроде нейтрино. Чужой он был, всем чужой. Дикий, непонятный, Великий...

Но – к делу.

Однажды, воодушевлённый некоторыми успехами в стихосложении, поздний уже Великий, в подражание знаменитым изваял Оду. Себе самому. Назвал «**Певчий гад**».

Вот так и озаглавим обломки. Всю эту Сагу так и озаглавим:

Певчий Гад

*«Я в лавровой опочивальне
Хочу на лаврах поживать,
Обрыдло в спальне-ночевальне
Как всяко быдло ночевать.
Я представляю: вот кровать,
Увитая роскошным лавром,
На ней двум-трём пригожим лярвам
Вольготно будет мне давать
Сопеть в обнимку с ними рядом,
И просыпаться, и любить
Всегда самим собою быть,
А не каким-то певчим гадом.
Я заслужил! Я не охально
Такую требую кровать,
Я жить хочу опочивально!
Хочу на лаврах поживать!
Мне надоело воровать,
Из воздуха стяжая славу,
Я славой отравил державу,
И лавра сладкую отраву,
Герой и буй, хочу впивать!»*

Красивый пожар был

Впиваюсь в прошлое, вспоминаю – а с чего, собственно, началось? Жил обычный мальчик, жил себе, сопел, сопли мотал на кулак, и вдруг...

А начиналось так.

Впервые нажрался Великий в школе. В первом классе. Первого сентября. Отметил обязательку всеобуча по-взрослому. Наслышан был: доброму делу «дорожку промочить» надо. Промочил...

Купил на украденные у папашки копейки «огнетушитель» вермута, и...

выжрал до доньшка. В одиночку. Хорошо ещё, жрал на детской площадке. Иначе не дополз бы до дома и не получил от папашки звездюлей. Таких звездюлей, что хватило на всю оставшуюся жизнь. А заодно и на долгую ненависть к родителю. А ещё и к школе. А ещё и к родимому дому. Вспоминая, скорбел:

*«Будем всякой хернёй заниматься,
Будем падать и вновь подниматься,
Будем, будем...
А после не будем.
Это – людям, друзья,
Это – людям...»*

Избитый «папулей», избитый, ушёл из дома. Ушёл недалеко, но умненько – на уютный чердак родимой трёхэтажки. Пожил там пригожими сентябрьскими деньками, а их выпало ровно семь, комфортно. Ночевал на бесхозной ветоши.

С раннего утра, со своей верхотуры, из слухового окошечка начинал хитрую разведработу – выслеживал час, когда родня расходилась, спускался с чердака и проникал в собственную квартиру через окно на кухне. Благо, первый этаж, пожарная лестница... какие проблемы? Запасами из холодильника и кормился...

Кормила в первую очередь природная смётка, изворотливость, хитрость, вороватость. Всё можно обмануть, везде извернуться, всё обойти.

Только не природу. А природа не одной лишь весной да летним теплом балует, – лютым холодом потчует, снегом-льдом попыпытывает, зимы снежные напускает... а даже и осенью подмораживает.

Именно они, первые заморозки, а не природная вороватость вынудили прихватить из дома вместе с очередной порцией съестного денег для винца. Для сугрева.

Винцо винцом, но и огонька захотелось... как не понять. Распалил, гад, костерок на деревянном чердаке, испёк картошку, клюкнул бормотушки, заснул. Сон был безоблачен...

Но – до поры. Клубы едко смердящих облаков плотно стояли над головой очнувшегося Великого и, кажется, говорили: «Выбирай. Пора. Вставай. Или усни навеки. Теперь или никогда...».

*«...приходил какой-то жолтый,
Он шугал его: «Пошёл ты!...»,
Только жолтый уходил,
Фиолетовый будил...»*

(Из воспоминаний о детских сновиденьях Великого)

Великий выбрал – проснулся. И увидел: чердак тлеет, струйки дыма расплзаются уже не только от очага, но и от ветхих деревянных перекрытий...

Кинулся тушить костерок – топтал, кашлял, задыхался. Сухие балки вот-вот вспыхнут, а тогда... не только дом, сам-друг сторит, пропадёт к чёртовой матери.

И не оставит о себе Эпоса...

Пришлось спуститься вниз, сдать взрослым. А в итоге...

В итоге на целых два годочка попал в зону для малолетних преступников. За поджог многоквартирного дома.

Это первая страница жизни, от которой в памяти навсегда остался едкий осадок, а в груди хронический кашель и навсегда надтреснутый хриплый голос «а-ля Высоцкий». Впрочем, причина хрипоты крылась ещё и в более раннем детстве. Но не всё сразу...

*«Дом горел. Прибыл отряд.
С похмелья отряд строг.
«Никто не уйдёт. Все сгорят!» —*

*Красивый пожарник рек.
Добил бычок. Сказал вашу мать.
Пламень был чист. Бел.
Чёрный брендспойт. Жёлтая медь...
Красивый пожар был...»
(Из позднего Великого)*

Тогда-то, раным-рано – после битвы с «огнетушителем» грязного винища, битвы с пожаром, битвы с папулей, битв на зоне – стал Великий осознавать шкуррой, ещё не очень дублёной, что всё в этом мире – Битва. Видения надвинулись позже. И заслонили...

Перчатка-самолёт

Надвинулись и заслонили Великому жизнь извитые, как дым, видения. Самую ральную жизнь в её прямоте-простоте. Нахлынули мороки, миражи. Откуда нахлынули, Бог весть. Только затуманило глаз, зашумело в башке, во всём распахнутом миру существе такое что-то заворочалось, с чем нет и не может быть сладу.

Это потом он понял – его призвали. Не в армию, не в тюрьму, которых не избежал позже, в инстанцию посерьёзней. Верить не хотел, не стремился в эту инстанцию, и даже сопротивлялся поначалу.

Противление дало, вероятно, некоторый уродливый наклон в творчестве... но, несмотря ни на что, всю-то свою жизнёшечку подчинил он блуждающей Силе. Никем и никогда не понятой Силе. Творчеству.

И служил. Служил ей верно, до конца. Со всею истовостью, искренностью, прозорливостью. Несмотря ни на что...

Великий лукав. Дураковат, и даже не в меру. В последних классах школы двадцатилетний переросток, несколько лет потративший на подростковые колонии, вынужден был доучиваться с нами, пятнадцати-шестнадцатилетними. Он явно отличался от всех, как настоящий Неандерталец от кроманьонцев. И ненавидел халдейский глас, стоны, жесты педагогов. Первый написал стихотворное сочинение об ученических годах, поименовав его «Школьный вальс»:

*«Мы в школу шагали,
А в школе шакалы,
Которые сделали нас ишаками,
Указками били, дерьмом нагружали,
Пасли, и над ухом дышали, дышали...»*

Да, но ведь и я, сам тайный неандерталец (пока ещё тайный), стал поражать его самодельными стихами. Стихи были чудовищны и потому нравились Великому.

Особенно его поразило двустихие про нежную девочку, про невозможность красиво признаться ей в «красивых» чувствах, а потому под конец любовной эклоги раздавался там вопль:

«Мне покоя не даёт

Твой перчатка-самолёт!..»

Великий хохотал, как сумасшедший: сгибаясь, переламываясь в поясе, чуть ли не падая на сырой весенний тротуар, по которому шагали из школки после уроков...

А потом взял да насочинял про себя, заикающегося во пьянке:

*«Мой приватный логопед
Как-то сел на лисапед,
В грязь упал, и напугался,
И захрюкал, как свинья...»*

*Матюгался, заикался,
Стал такой же, как и я...*

*Ходим мы теперь вдвоём
К логопеду на приём...»*

И обрывочек ещё:

*«...и с тоски
Сел в такси...»*

А я читал ему, читал на полном серьёзе другие стишки, и сам внутри хохотал.

Я прочитал ему эпос: «Про Корову, Таракана и Паровоз», где все три персонажа дружили, враждовали, стремились. Эпос венчался лирическим пассажем, где после столкновения коровы с паровозом вырисовывалась величественная степная картина:

*«Лягушки квакают вдали
И Паровоз лежит в пыли...»*

Великий хохотал. А я ликовал, учуяв родственную душу. И снова, и снова нёс вдохновенную ахинею. Потом я назвал это так: *прозотворение...*

Нельзя? Но почему! Стихо-творение – можно, а прозо-творение – нельзя? Можно.

Моль из Хухряндин

Можно многое. Можно вообще почти всё, если на взлёте, на вдохновенье, на восхитительном порыве вранья, которое уже большая правда, нежели сама правда. Главный закон творчества: не соврешь, не расскажешь.

Я рассказал ему про Моль.

Великий, изумившись, признался, что никогда не видел Моль. Он попросил обрисовать её черты, параметры, образ жизни.

Пришлось объяснить, что Моль живёт в шкафу, что это прекрасное белокрылое существо размером с филина. Вылетает из шкафа исключительно по ночам и питается специально заготовленным для неё тряпичным хламом. Хороших, добротных вещей Моль не ест, поскольку уважает хозяев дома и заключила с ними мирный договор, по которому люди оставляют ей указанное договором пропитание...

*«Перед тем, как стать хоть чем-то,
Надо пометать о чём-то...»*
(Из поучений Великого)

Великий верил и просил показать Моля. Но поскольку Моль появляется только ночью, я обещал ему показать детёныша Моли. И даже подарить ему этот плод воздушного соития Моля с Летучей Мышью. Она ведь тоже, как и Моль, проявляется только в тёмное время суток. И тогда, в потёмках, нужно лишь выждать время и выкрасить детёныша...

Но это потребует изрядной ловкости, длительной тренировки, а посему отложим до лучших дней, до ласковых летних вечеров.

Великий верил.

...днём все мыши серы...

Верил Великий, и даже писал эклогу про Моля и Летучую мышь. Она затерялась в скитальческой жизни, помнится обрывочек:

*«...та-та-та... ни зверем, ни птицей
Обозначиться не спешит,
Ужас кружится над черепичей.
Жуть кожевенная ворожит...»*

Видимо, из «дневника». Впрочем, нет, не вёл он дневники. Ночники вёл:

«Дикое желание в осеннюю ночь – схватить булыгу и разгваздать звезды. Вдребезги...»

* * *

*«...коготочки не топьрь,
Я и сам, как нетопьрь...»*

* * *

Великий лукав. Верил мне лишь потому, что у него самого жили диковинные создания, за которыми трепетно ухаживал и никому не показывал. Чтобы не сглазили. Очень нежные они были. А звали их – Хухрики. Двое, он и она. Он – Хухуня. Она – Хохоня. И оба они – Хухрики, выходцы из страны Хухряндии.

Они родили детёныша Кузюку, и со всеми этими созданиями Великий обещал меня познакомить. И даже показать могилу их прародича – Главного Кузенапа.

Но не познакомил.

Сказал, что в погожий день отнёс нежные создания в горы, положил на травку у могилы Главного Кузенапа, и отпустил восвояси. Убеждал и меня отпустить Моля на волю. Я сопротивлялся.

Великий верил. Верил каждому моему слову, особенно нелепому.

За это я его и любил. – За природное неандертальство.

Верить-то Великий верил. Но сомневался. Сомневался вообще во многом. И, в конце концов, усомнился в самом устройении мира, вернее, в правильности устройства его. А не наоборот ли кто-то всё в мире перевернул? Злое сделал добрым, доброе злым?

И предложил свой **Вариант Доброго Мира**. И написал целый трактат.

Трактат за давностью лет не сохранился. Остался обрывок со стихами, счастливо прилепившимися к старой папке. Точнее, обрывки стихотворения, из которых, впрочем, можно догадаться о величии Целого:

*«...шатуная ива... плакучий медведь...
Как всё это славно сложилось!
А ведь
Сложись чуть иначе, стань мишка шатуным,
Мир тотчас же стал бы плохим и плакучим,
Плачевным бы стал, кровожадным и гнусным,
Урчащим из куц...
Но не будем о грустном.
Мир так поэтичен!.. В нём нежен медведь,
Лирична мятежная ива, а ведь...
Но – нет!
Нет, нет, нет.
Так ведь лучше?
Так ведь?..»*

* * *

И ещё какой-то обрывочек, довольно бессмысленный и, скорее всего не имеющий отношения к Целому. Но, пытаясь соблюдать историческую правду, вот он:

*«...волки, волки,
А где ваши тёлки?..»*

Это всё, что осталось в *той* папке. Были, правда, и другие папочки с рукописями. Но речь о них впереди.

Гы-ы-ы...

Впереди расстилалось для Великого нечто, судя по общественному озлоблению, вызванному публичными проектами, невеликое. Имел слабость, отвагу и глупость составлять проекты, мечтать.

Неравнодушный к бедам Отчизны, не только запивал горькую с малолетства, но вдохновлённые любовью к братьям-русичам проекты направлял напрямик в газету. В самую главную партийную газету, где серьёзные дяди услышат, примут меры.

Дяди принимали. Не швыряли в корзину рукописи, но, усердные, слали тревожные сигналы в школу, детскую комнату милиции, родителям...

Особенное негодование вызвал проект повышения демографии. Поняв окончательно, что ни увещеваниями, ни материальными посулами рождаемости не поднять, Великий предлагал более действенные меры.

То есть, обернуться и посмотреть назад... куда?..

О, ужас! – Великий предлагал возродить методы проклятого царизма. Одно это уже попахивало политической статьёй, избежать которую Великому помогло лишь его малолетство и добрая репутация родителей...

Суть проекта оказалась такова: Великий решительно доказывал, опираясь на исторический опыт, что громадную и дикую территорию России (на две трети в зоне вечной мерзлоты) невозможно было освоить без всевластия мужиков и бесправия баб.

Значит, женщин снова следовало лишить паспортов и пенсий. Лучшая пенсия – дети.

Как было при царе, в крестьянских семьях? Только у девочки циклы наладились – замуж. И рожай, рожай, рожай... сколько Бог даст, покуда утроба плодит. А дальше: «Сорок пять – баба ягодка опять». Поговорка проверенная.

И если под старость оставалось у многодетной матери из полутора-двух десятков детей два-три кормильца, считалось, жизнь прожита женщиной очень хорошо и умно.

Кроме того, отсутствие паспортов обеспечивало прочность семьи. Разводы случались редко, да и то лишь в образованных сословиях. О правах женщин вопили только университетские дурры, деревенские же бабы, главные рожаницы, о таком и не слыхивали, и не думывали вовсе.

Муж ладный, работающий? Добро. И никаких прав не требуется, писаных и неписаных. Раздолбай? Так он и в Африке раздолбай.

При любом времени и общественном строе раз-дол-бай.

Скорее всего, стерпели бы и эти мыслишки, не вверни пассаж, подвергавший сомнению материальные посулы для рожаниц. Он сделал прогноз – если деньги и повысят рождаемость, то за счёт мусульман и цыган. А русским всё одно кирдык, коли не отобрать паспорта у баб и не лишить пенсий.

Вот за это – за нац-подкоп – проработали в милиции, школе, а потом и в родном дому. Отвечал на проработки согласным кивком головы и дичайшим звуком «Гы-ы-ы...» Это было одновременно и утробное «Угу» – «Ага», и выражение утробного же, прямо-таки животного смеха. В зависимости от ситуации. А поскольку фрикативный звук этот мог семантически и фонетически видоизменяться до бесконечности, годился на все случаи жизни. Следовательно, уличить Великого в издевательствах над старшими совершенно не представлялось возможным...

Из «архива» Великого:

«Темна вода во облацех...»

На земле темнее. На земной воде ворожат. Марь колдовства. А колдуны – кто?

Настоящие повара... заваривающие революции. Вмешиваются во все бурные дела, чуть где заварушка, бунт, драчка (в пивной, в борделе) – колдуны тут как тут. Или так себе, колдунчики, шиши-кочерыжки, шишиморы. Вроде убогонькие, не шибко страшненькие с виду, но очень ловко подбрасывающие хворосту в огонь.

Или – учёные. Зависит от диапазона стихии. Буря, огонь, град, ливень – стихия «учёных». Подкормка же «классических» колдунов, упырей, вурдалаков чаще в ином, в кишеньях, в нечистотах народных. Незаметно, тоненькой вьюжкой завиваются в бурные дела, непостижимым образом становятся там «своими». Возглавляют революции, перевороты, правительства... **«Кровушки надоть!..»**

«Ленин очень сильный колдун. Сильнее даже Троцкого. Сильнее Сталина. Тот смотрел на Ленина точно кролик на удава, беспрекословно исполнял все его заветы, даже сомнительные. Что после распада страны обидно.

План устройства СССР по экономическим зонам, а не по нацреспубликам, предложенный Сталиным, был дальновиднее в перспективе. Но Ленин был фанатом Великой французской революции, а там идеал был Республика. Ленин кроил страну по европейским меркам, он сказал Сталину «НЕТ», и тот съёжился. И за четверть века полновластного правления не посмел переделать по-своему. А то, глядишь, жили б и ныне в единой стране. Сильный колдун Ленин. Очень сильный. Впрочем, «Темна вода...»

И создал Великий **Кангату**. Целиком не сохранилась. Отрывочек разве:

*«...устав от молений, глумлений,
Сложив свои кости в карман,
Восстав с богатырских коленей,
Рассеяв былинный туман,
Амур Енисеевич Ленин
Уходит в глухой океан
Не Ленин, не Надин, а – весь...»*

Плата за прямохождение

Глухой океан ненависти окружал Великого всю его жизнь. Не всегда шумел, раскалённую пену швыряя в лицо. Глухо таил в себе ненависть, выплёскивался непредсказуемо. Впрочем, учитывая непредсказуемость Певчего Гада, минус на минус давал порою и плюс. Главным образом в творчестве, всплывающем из мутных глубин...

«Пустые, осенние кусты без ягод... это не кусты – возмутился Гад, это – „пусты“... так и стану их звать, пусты...»

Не любили Великого учителя. Не любили, и всё. Хотя лучше всех решал задачки, быстрее всех соображал. Иногда даже, откровенно глумясь над халдеями, как величал учителей, раньше всех тянул руку, когда ещё не был даже окончен вопрос...

Но, что страннее, не любили родители. Особенно могучий «папуля», геолог, отравивший в младенчестве сыночка...

*«...ты Царь? Живи один.
Ты Раб? Живи семьёй...»
(Из плача о родимом доме)*

А было дело на северах. Пил папуля с дружками-геологами водку, кидали окурки куда попало. Один попал в тулуп, где был наглухо закутан млад-Великий. И тот задохнулся.

Не совсем насмерть задохнулся, – пришла «мамуля» из магазина, и обнаружила подозрительный запах из детского тулупчика. А также подозрительные корчи, покашливания из него ж...

Так на всю жизнь остался Великий, спасённый от пьяных геологов, с голосом Высоцкого, но с некоей писклявостью, в отличие от Владимира Семёновича. В дальнейшем самоотравление уксусом (как всегда, не окончательном отравлении), плюс гарь от пожара на чердаке добавили хрипотцы...

Так, год за годом, формировалось его знаменитое хриплое «Гы-ы-ы...» – на все случаи жизни.

Труждаясь беспросыпно над приборами в сейсмостанции (о ней рассказ позже), а также, одновременно, над «огнетушителями» вермута, Великий всё же находил время для некоторых размышлений, чаще всего не имеющих лично к нему отношения.

Он **Размышлял Вообще**. Чем и был значим...

Но вот подвернулась бабёнка из другого города, бездомная, и пригрел её Великий в своём подвале многоквартирного дома, уставленном не только приборами, но вполне приличной кровати. И зачала она. Как позже выяснилось, не от Великого. От какого-то заплутавшего шатуна, скрившегося потом в неизвестном направлении.

Но тогда ещё Великий верил, что – от него. И проникся жалостью к бабей доле...

Когда всё почему-то зашумело-загудело-запело, стихами закружилось, задумался – а почему, как, откуда это зашумело? Задумался Великий. Задумался впервые на торфоразработках пребываячи, подключаячись, как прояснилось позже, к Её Величеству Поэзии. Неизвестно откуда возник этот шум, как и бывает у настоящих великих – неизвестно откуда и зачем бывает, — но однажды задумался об истоках литературы, а не только о стихийном творчестве. Ибо после зоны, между лекциями в знаменитой пивной, о которой, конечно же, не раз пойдёт речь, стал посещать самые разные библиотеки.

Задумался о Серебряном веке, о его вычурностях, выпренности, сопряжённых не с Солнцем, а с луною. С поэтизацией «волшебницы-луны», которую, впрочем, Пушкин любил называть глупой. Почему? Уже не спросить...

И о Золотом веке задумался Великий. И о циклах – космических в первую очередь, а также и о женских циклах задумался... и связал всё это в опус. Не очень пристойный, однако, но из песни слова не выбросить:

*«...в нашей Солнечной системе
Ворожить на лунной теме,
Всё равно, что жить в...
Трубы Солнечные грянут,
Циклы месячные станут
Годовыми. Как везде».*

День непопадания в урну

Как везде и всегда, знаменитый день **«Непопадания в урну»** не остался без метки. То бишь «зарубки» в корявой амбарной тетради. Скорее всего, это произошло ввечеру. А до того ещё, днём, спросил задумчиво, остановив меня на осенней ветреной улице:

– *«Что это за день такой? Какую дрянь ни кинь в урну, то рука дрогнет, то ветром снесёт ...что это за день? Наверное, особенный день. Такие дни должны именоваться как-то по-особому. А как?..»*

Пошевелил-почесал колтун памяти, — под ещё мощной, огненно-рыжей копной волос, махнул рукой, и – вырубил на века. Рек:

*«А вот так – **«День Непопадания в Урну!»***

Записал реченное в тетрадь. Что подтвердилось впоследствии.

«...да никакая не Эволюция! Обратный путь. – Инволюция. У Неандертальца мозг свыше двух с половиной литров. Чуть позже, у кроманьонцев – два с небольшим. У нынешних хомо-сапиенс полтора, иногда чуть побольше. А зачем ещё? Основная работа проделана пращуром: изобретён топор, нож, лук, орало. Одомашнена лошадь, собака, корова. Изобретено и усовершенствовано главное средство передвижения в течение тысячелетий – Телега!..

А ещё седло, упряжь... миллион «простых», как бы само собою разумеющихся для жизни-необеспечения вещей: дом, печь, огород, пашня...

И на кой они чёрт теперь, большие мозги, когда всё, требующее мощного разума, сметки, – уже изобретено? Долбить по «клаве» много ума не требуется. Можно расслабиться, атрофировать мозги, передовериться роботу, разучиться понимать компьютерные программы, придуманные когда-то людьми, но теперь уже не нужные вовсе. Зачем? Живи на готовенькое...

*А нужны ли роботу сами люди? **В первую очередь** — роботу. Ну скажи, на фига они нужны машинной расе, обогнавшей поглупевших людей, доверившихся программе, впавших в техногенный кайф, обдолбанных цифрой, виртуальной наркотой?..*

Инволюция, однако»

Из «максимок» Великого:

«...человек, уснувший под телевизор, уже похож на человека...»

...да и мамуля не очень любила сыночка. Почему-то не любила... может, зачат не по любви? Тайна. Тревожить не будем. Тем более, Великий сам подавал, очень даже нередко подавал поводы к нелюбви. И сестра не очень любила. И сотоварищи относились с недоумением... и девушки странно, очень странно к нему относились...

Из цикла Великого «Белибердень»

*«Что ж зазря глазами хлопать,
Пенелоппа?»*

– «Рыбки бы чуток полопать...»

Да не лопаются.

И не ловится, и не лопаются...

– *«Не ходи за лоха замуж,
Пенелопица!..»*

И решил однажды свести счёты с жизнью. От нелюбви. От странной, грустной нелюбви к себе. Такому любимому, нелюбимому...

Да, но как свести? Прыгать с башни? – Страшно. Застрелиться? «Ружжа» нет. Таблеток нажраться? Денег нет, да и рецептика нужного...

Выбрал время, когда все домашние на работе, включил духовку, сунул башку. Пахло плохо. Очень плохо, неприятно пахло...

И решил малость передохнуть... отдохнуть чуток. Прилёг рядом с открытой духовкой, в обнимку с нею, да и заснул.

А тут вдруг – «папуля»!..

Явился домой с работы вне всякого режимного распорядка. И – навёл порядок. Выключил газ, открыл настежь окна, и выдрал Великого – на позорище, на погляд всему двору, на крыльце дома, – выдрал безо всякой пощады сыромятным ремнём по голой заднице. И Великий в очередной раз покинул дом.

Отчий дом...

Вот те и *«День непопадания в урну...»*

Под многими ножами

День непопадания в урну был не самым болезненным в долгом странствии по земле, по её долам, стремнинам, страстям. Его, непредсказуемого Неандертальца, почему-то очень много били в этом опасном, рехнувшемся, ничего не понимающем мире. Били в основном кроманьонцы – по своим ничтожным понятиям...

Так много, и по разным поводам били, что вывел закон «бития»:

«Чтобы жить и что-то понимать, надо делать больно. Тебе же делают? Жизнь делает. Больно. А другим, подопытным? Иглы втыкают, хвосты крысам режут, собак распластывают... экспериментируют. Иначе опыта, знаний иначе не набрать...

А они нужны, знания? Кто ж разберёт»

«...это тебе не детские игры, это старинное дело, это очень странное дело!.. Как только увижу Кремль – х... встаёт» – мистически этак, выражая полнейшее недоумение, говаривал Великий. И вспоминал, как его потоптали у Кремля.

«Трахнул прямо в Александровском саду, на травке, под самой кремлёвской стеной одну тёлку... а раньше не мог, не вставало...» – плакался притворно. Притворно, ибо тогда ещё

любил только одну девочку, а не тёлку – отличницу Тоньку Длиннюк. А она его нет. Ещё нет. Длинная, прыщавая, не очень складная отличница из хорошей еврейской семьи, чем она привлекла хулиганистого неандертальца Великого? Тайна...

*«Как много девушек хороших!
Как мало искренних шалав!..»*
(Из заплачек Великого)

Купил он неприступную отличницу дичайшим образом. На свидании, которое вымолил перед окончанием школки, рассказал, как заснул пьяный в сортире... и – упал с унитаза. Ушибся, разбил голову...

Длиннюк, побледнев от кошмарного откровения, пала в обморок. Тут же, на скамейке, под вешней сиренью...

Но, очнувшись, прониклась к идиоту какой-то необычайной, жертвенной, необъяснимой, вседозволяющей любовью. Женщина, женщина... тайна...

И – разразился выпрелне:

«Порядочный человек стихов писать не станет!..» —
И написал:

*«Как много девушек хороших,
Как много ласковых вымён!..»*

И переписал:

*«Как много девушек хороших,
Как мало искренних шалав!..»*

После падения в обморок, а также дальнейшего падения вообще, Тонька уже готова была – на всё...

Но, вишь ты, у него, якобы, не вставало нигде, кроме как у Кремля.

«Державный восторг, однако! Или фаллический символ?.. Кремль! Башни, башни, башни торчком! Как тут не встать Самому?..»

За это менты (спецменты кремлёвские) и простили. За «Державный восторг». Потоптали, правда...

«Щучка не захочет, карась не вскочет...»

Первый удар тяжкого глянцевого сапога по голой жопе Великий ощутил на склоне травянистого кремлёвского холма, в Александровском саду. Прямо под Кремлёвской стеной. Ощу-

тил, освобождаясь, наконец, в соитии от длительного застоя в простате. Крик счастья и – одновременно – боли вознёсся выше кремлёвских башен. Но не был услышан свыше. Снизу услышан был...

Битие Великого менты, изумлённые кошунственной картиной совокупления в ясный день прямо у Главной Святыни Державы, продолжили уже в спецзуилище. Могли и насмерть забить, но неслыханная дерзость пучеглазого болвана, а также «Державный восторг», про который избиваемый продолжал вопить, смягчили сердца глянцевого спецментов.

И потом даже налили ему стакан чистой, и похвалили девочку Длиннюк за молчание и благоразумно опущенный взор во время истязания распластанного на бетоне голого, белого, но уже синеющего червяка.

*«...и окажешься под **многими ногами**...»* – воздевая палец нравоучительно, многозначительно потом возвещал Великий.

Быль и небыль. Пыль и непыль.

...а ведь и то, без стыда рожки не износишь.

Из «фразок» Великого:

«В женицине всё должно быть прекрасно и членораздельно...»

*«Не красна изба углами,
А прекрасными полами...»*

Добрых — больше

Женщина. Сосуд ненасыщаемый

*«Женщины, женщины...
Зубы искрежещены!..»*

*Супруги – годяи. Просто возлюбленные – ещё не-годяи. А супруги – годяи.
Женщины... женщины...*

Хорошо, что молчала Тонька. Но ещё лучше, что Великий удержался и не прочёл ментам под водочку гадкие стишки:

*«Кто в Кремле живёт,
Тот не наш народ...»*

Стишки были длинные и глумливые. Когда я посоветовал уничтожить их напрочь и не читать никому, нигде, никогда, ни при какой власти, он, кажется, послушался. Во всяком случае, в архиве продолжение покудова не найдено.

Жаль. Стишки были смешные...

Бормотун-дурачок

Смешные стишки посочинивал Великий. А уж какие смешные, а то и гадкие в смешной нелепости поступочки совершал – не пересказать!... и ведь почти все не по своей воле! Одолевали врождённые недуги: kleptomания, перемежающаяся глухота и слепота к очевидному миру, Фантазии, брызжущие помимо воли и разумения, тиски обстоятельств, из которых человеку не вырваться...

Решился после долгого расставания с Тонькой, уплывшей с родителями в другую страну, покончить со всем этим. То есть, отважился, наконец, после отказов (девичьих, в основном, отказов) резать сам себя...

Но вначале продекламировал приговор. Самому себе:

*Совсем колдунчик,
Бормотун-дурачок,
Сел на чемодан
Добивать бычок.
Божественною высью
Обласкан, бит,
Надует жилу, мыслью
Немыслимой скрипит...*

— **«Надоело скрипеть!»** – воскликнул высокотеатральный, стоя перед зеркалом. Плюнул в подлое стекло и побрёл в магаз. Взял «бармалея», пару «огнетушителей». Ну и выжрал на лавочке. Естественно, из горла. А далее... далее покатило совсем уже предсказуемое: разбил сосуд о сосуд...

Поскуливая, забрался в кусты, подальше от аллейки, где до этого горестно и прощально пил, зарылся в листву, чтоб никто не нашёл в гибельном позоре самоуправства, вскрыл вены осколком...

*«Женичины, женичины...
Зубы исскрежещены!»*

Не быть бы Великому Великим, ан хранила судьба. Или недоля проклятая.

Прогуливалась в те поры парочка по аллеике. Долго, видно, прогуливалась... парню захотелось пописать. А где, как? Для этого надо придумать причину, достойно удалиться. Придумал, конечно.

И удалился...

В итоге пописал не на что-нибудь, а прямо на умирающего в кустах, уже окровавленного Великого, – неразличимого за листвой.

Вызвали неотложку, спасли щедро орошённого, грустно отплывающего в нети...

«А зачем, зачем?..» – Трагически вопиял потом нелепо спасённый.

Потом добавлял, однако: *«Божья роса...»*

И запил снова. И записал дрожащею рукою о жизни и смерти. Назвал: «Труба»:

«Умер.

Верней, по-украински —

Вмер.

В дёрн, в смерть недр

Врос.

Всё. Труба.

В космос вхожу, как пленный в воду.

Гощу тяжело.

В пустой вселенной шарю, как мертвец.

Шарю, шарю, шарю...

Ну, ну, – давай!

...не убывает.

Жил, как-никак, всё ж...»

Внутри человека ничего нет

И всё ж по излогам, по извилистым долам расколотого, битвами людскими разделённого мира вился Великий долго... а страшная болезнь клептомания не отпускала. Ну не мог он не взять то, что неважно лежало. Миропорядок рушился!

Всхлипнул однажды:

«А может быть, мир и не готов меня правильно воспринимать?..»

И ведь не корысти ради крал, а только ради смутной, неведомой, в глубочайших недрах затаённой надобы. Не жадобы, а именно надобы. То, что лежало хорошо и важно, не крал. Тут миропорядок не рушился. По врождённому недомоганию (или свыше наущенному?) брал только плохо лежащее.

И старел, и грузнел, и слеп... и писал чудовищные, выдающиеся вирши, и держался, как мог, но...

Раскол между промысленной сутью и грязным миром ломал его. Ломал прозрачные крылья. Мутные потоки не давали увидеть большинству смертных его бессмертный огненный кирпичик, таимый в застенчивой душе, так и не размытый до конца, но так и не блеснувший однажды во всю ослепительную мощь ахнувшему и вдруг чудесно прозревшему миру...

Обрывочки:

«Снова ловят кого-то менты...»

*«Из огня да в полымя
Через пень-колоду...»*

«Светохода. Светофора. Кривошип...»

«...отголоски Рая – наша прозрачность. Полная уверенность в ней. На поверку – кажимость. «Череп... это шлем космонавта?». А как же! Вот, прилетели. Думаем. Думаем, что все видят и знают, что думаем. Прозрачные же. А «все» не знают, не видят. Не видно мыслей, которые думаем. Шлем не прозрачный. Вот и бардак – от недомоганий. Трагедия нестроения, недосотык...»

Как жук, постаревший и подслеповатый, залетел-таки снова. По малому делу залетел – не смог в очередной раз не украсть то, что очень плохо лежало в занюханной фруктовой лавчонке...

Залетел, как жук, заплутавший среди медовых палисадов залетает в открытую форточку, которая вдруг коварно захлопывается сладким, фруктовым ветерком...

Залетел в узилище. И очень там тосковал.

Болел... всё болело внутри. Били много. А врачей толковых нет. Как быть?

И снизошла на него редкая в космическом милосердии мысль – *внутри человека ничего нет!* Следовательно, болеть нечему...

Самое интересное – мысль помогла. Да как! Боль отпустила. И не возвращалась потом весь оставшийся срок...

Осталось в архиве кое-что из тюремных дум:

«Гнилой, значит умный. Образованный, сложный. Это по тюремным понятиям, здесь, на земле так считается. А вот в Раю человек – прост. Не образованный, не гнилой. На землю же отправлен с порчей, со знанием. Знанием соблазна, для начала.

Как-то станет он там, на земле, проходить «процесс гниения»? Кто ж это знает? Это ему – испытание. Сумеет ли достичь святости, стать светящимся, преодолевшим гниение? Или всё-таки – «провоняет?..»

«Диогена, «гнилого», поелику умного, винули современники, коллеги-завистники-злопыхатели. Обвиняли в подделке денег. «Фальшивомонетчик!» – кричали вслед. Пытались даже статью вписать. А за что? За тезис циничный, «собачий»:

«Пересматривай ценности! Подвергай сомнению всё! Переменяй взгляды!». Вменили в вину: мол, это не что иное, как призыв подменивать деньги. Перековывать якобы. Деньги-то были у граждан-патрицеев главной ценностью, вот и гнобили они, неумные. Гнилого гнобили, умного. Именно так поняли его тезисы. Пытались засудить гнилого. «А не заносись, умный, проще надо быть, чище. Цельным надо быть, бессмертным! Аки боги. Аки бессмертные одно-клеточные. Аки амёбы.

Простейшие. Вытрепки Рая...»

Полюбил Великий, в перерывах между изгнаний, узилищ и прочих смутных дыр бытия, пьянство в одиночестве. Задумчивое такое пьянство. Выудил в умной книге оправдание: да это ж **«Экзистенциализм»!**

И сочинил эклогу:

Экзистенциальная натурфилософия

1

*«Задрав двери на засов,
Откупорив сосуд вина,
Как натуральный философ,
Я сел подумать у окна...»*

2

*Итак, предметы: ночь. Луна.
Литр убывающий вина.
Хор завывающий собак.
Сиречь — предсущности. Итак.*

3

*Стриптиз крепчал. Мамзель Луна
Терроризировала псов...
Цвела сирень... была весна...
Я слёзы слизывал с усов.*

4

*И думал я о том, что там,
Где всё оплатим по счетам,
Ни дум не надобно, ни дам...*

5

*...о том, что суд что там, что тут
Неправ, — хренов...*

6

*...что вновь сосуд
Бессмыслен, — пуст...*

7

*...что вновь сосут
Пустые мысли...*

8

*...что ни сна,
Ни дум невинных, ни вина,
Ни дам нет — думал...*

9

*...на хрена
Такие думы — думал...*

10

*...на
Кой хрен у лунного окна
Вся эта хрень, сирень, весна?..*

11

*Сосите сами, суки, суть
Натуралисты, свой сосуд,
Философисты, блин!..*

12

*...хана.
Сосуд сей высосан — до дна.
Предсущность — опредмечена.*

13

*А) Я слёзы вылизал с усов.
Б) Угомонил **предметом** псов.
В) Я поступил как философ...*

14

*– !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...
– ???????????????????????????????...*

– !!!...

15

...и не ходите у окна!»

Мысли и наблюдения записывал Великий со школки. Вначале в карманный блокнот, потом где придётся. Шнуровал тетради, когда было время, а то и просто записывал на обёрточной бумаге, на разноцветных салфеточках. А чаще в амбарную корявую книгу, доставшуюся от тётки-кладовщицы на овощной базе. Трудно разложить оставленный Великим «архив» строго по жанрам, по полочкам. Но кое-что оказалось возможным, набралось несколько почти одностилевых циклов. Или под-циклов. Как то: «Штудии». «Максимки». «Салфеточки». «Наблюл». «Белибирдень»... ну и так далее, в том же роде.

Из под-цикла «Наблюл». Скорее, «подслушал»:

«...весна. Кошки орут во дворе. Пьяный крик из окна соседа:

– Ну, кто там опять детшиек мучает?!»

Однажды, в том же в узилище, озарило Великого. Пришло объяснение всей жизни – почему его не берут ни в ад, ни в рай, а держат, всё держат и держат на этой, совсем несчастливой для него земле.

Он понял, что **Человек – Ракета!**

И записал:

«В любой ракете есть топливо, и пока человек (та же, блин, ракета) не выработает горючее, его не отпустят никуда, ни вверх, ни вниз. Это касается и детей, и совсем ещё младенцев: один изработал топливо мгновенно, мощно, и его – забирают... куда? Бог весть. Он-то – ведает. Знает.

Другой сто лет мькается на земле. И хотел бы уйти, ай нетушки. Плачет, хнычет, сопли на кулак мотает... нетушки! Не изработал топлива, соплива... – сопла слабые, узкие... Живи и не ропщи, сволочь!..»

Неандерталец бы так не подумал...

Вру!

Именно так бы и подумал Неандерталец.

А может быть, всей своею жизнью Великий писал... Евангелие?

Евангелие от Неандертальца...

Почитав книжку рассказней знаменитого вруля, записал Великий на голубенькой салфеточке. Сказал недоуменное:

«А, поди, каждый человек, думая о своей смерти, повторяет в отчаяньи или возмущении:

«Не может быть, этого никогда не может быть, этого со мной никогда не может быть!..».

Повторяет, и не может в этот момент увидеть себя со стороны. А жаль. Увидел бы малого ребёнка, слушающего сказки Мюнхаузена и вскрикивающего раз за разом:

«Не может быть!.. Не может быть!.. Этого не может быть!..»

Поискать и обнаружить рассказчика – не приходит в голову.

Из тюремных сетований и кошмаров Великого:

*«...если это смерть, зачем теснилась
В образе мужском? Зачем клонилась
К свету и радела обо мне?
Если жизнь – зачем лгала и длилась?
...дрожь, растяжка рёбер, чья-то милость,
И переговоры – как во сне...
Боже мой, зачем он был так важен,
Так велеречив, так многосложен,
Правотой изгажен и ничтожен?
Я же прогорал в другом огне!
Я же помню, уговор был слажен
Про другое!.. И во мне ещё
Что-то билось, что-то горячо
Клокотало, будто в недрах скважин —
Горячо!.. И Свет – косая сажень —
Молча перекинул за плечо
Жизнь мою...
Кабы ещё и всажен
В нужный паз...
Ну, да и так ничо...»*

* * *

Жёлтый лист — символист

Ничо-то ничо... вся жизнь была ничо, по его же признанию. Ни хороша, ни плоха, а так... ничо. Пустота. Высокая буддийская Пустота, как в зачинной буддийской молитве: **«О, Великая Пустота!»**

Та самая пустота, из которой рождается ВСЁ. И ночь, и день, и облака среди синего неба, и град из них, невинно-белых поначалу, а потом вдруг наливающихся синевой, переходящей в непроглядную черноту, и – град, побивающий всё. И – дождь, орошающий нивы... ВСЁ!

Вот это «ничо» и было, пожалуй, самым тайным путеводителем Великого по долам земным, по вёснам, зимам, осеням... по всему.

Плакался Великий, плакался горько, что болен, странно хвор каждой осенью. И не банальной простудой, чем-то погаже. Подозревал дурь, шизофрению. Говорил, что помещает кто-то в его башку пластинку, а на ней одна только фраза – и крутится, и крутится, и крутится... никак не отвязаться!

«Как это никак?! — воскликнул вдруг однажды — надо прописать это, воссоздать детально бредятину, а там... там, гладись, отвяжется!..».

И написал: **«ПРИВЯЗАЛОСЬ – ОТВЯЗАЛОСЬ»**

*«...жёлтый лист – символист,
жёлтый лист – символист,
жёлтый лист – символист...»*

ПРИВЯЗАЛОСЬ!

Только осень на дворе, – тупо глядя на дерево, силюсь что-то искреннее, глубокое вспомнить... и вот-те на! – «жёлтый лист – символист, жёлтый лист – символист...»

Нет, это уже нечто окончательное, гармонически завершённое нечто, такая «вещь в себе». Аномалия, грозящая стать «нормой».

Нет, тут если вовремя не разобраться, не разомкнуть цикла, чёрт знает что вывернется из потёмок подсознания... да и само сознание помрачит...

Ну хорошо, разомкнём, успокоимся. Разберёмся.

В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО...

Так? Так.

А чуть-чуть изменив: в начале было – СЕМЯ.

Итак, – миф.

Миф пал семенем в почву (скажем, в почву общеевропейской культуры).

Пал семенем-памятью дерева, памятью его, дерева, былого могущества, целокупности. И безгласным обещанием самоповтора всего цикла в целом — цикла роста-цветения-плодоношения.

Это начало.

А далее? А далее – росток.

Это ветвится миф: свежими песнями, молодыми преданиями... и вот, чуть погодя, – цветение этих ветвей. Языческое буйство культуры, опыление будущего, завязи колоссальных духовных вымахов...

АНТИЧНОСТЬ!

Эвоа, эвоа, эвоэ!..

И – мощное эхо-вызов с востока: «Ой, Дид-Ладо!.. Таусень, Таусень!..»...

Но цвет сошёл.

И – ровное кипение листвы прокатывается по долгим эспланадам:

СРЕДНЕВЕКОВЬЕ.

Эстетика равномерного зноя, внимательное взглядывание в себя, в потаённую сущность свою – плоскостную. А сквозь неё – в оконца иных измерений...

ЛИСТВА – ИКОНА

*Да, похоже, что так: листва – плоская, тщательно выписанная (до складочек, до прожилочек) икона, просвечивающая **Чрезвычайным**, По-ту-сторонним...*

Впрочем, в листве уже бушует завязь, постепенно оформляющаяся – в плоды. Так что же это? – Возрождение?..

ВОЗРОЖДЕНИЕ, ВОЗРОЖДЕНИЕ!

Плодоносящий сентябрь! – Собран урожай язычества. Всё уже свезено в закрома, в музеи, в галереи... выданы накладные, прикинуто сальдо-бульдо, нетто-брутто...

И что?

Всё снова плосковато, хрупко, прозрачно в мире. Осень. Листва. Увядание.

Грустно, но красиво. Этакая предсмертная, уже неземная краса... да это же —

ДЕКАДАНС!

*Сплошные трепещущие догадки о подзабытом уже
Чрезвычайном.*

*Смертельно перекрашенное, перекроенное, сильно побледневшее
средневековье...*

*И вот здесь, именно здесь один уже только Символ способен
(сквозь времена оборотясь) протянуться к Мифу, к первооснове,
тайно зыблющей в себе земное и неземное, сущее и при-сущее...*

...и недаром же это кошмарное:

*жёлтый лист – символист,
жёлтый лист – символист...
жёлтый лист – символист,*

А что за ним, за символом?

*А за ним уже чахлый постсимволизм, постмодернизм,
расширившийся на столетие. Земляная опрелость, мутация
форм, вызревание сквозь зиму нового мифа. Нечто
взыскуемое, замороженное в глобальном холодильнике уже
оттаивает и смутно обозначает себя в самом воздухе. –
В прозрачном, студёном воздухе, где слабенько ещё мерцает,
искрится морозными икринками зернистая, шаровая константа
всесочленений нового мира...*

*...жёлтый лист – символист,
жёлтый лист – символист,
жёлтый лист – символист.*

...ОТВЯЗАЛОСЬ!»

Пустыня

...отвязалось... всё-таки отвязалось от Великого наваждение – беспробудное пьянство. Стал пробуждаться. Пил всё чаще в режиме переменного тока, а не постоянного. Но и это не приносило полноты мироощущения. Устал Великий однажды (это «однажды» потом, слава Богу, повторялось) пьянствовать и хандрить. Ненадолго, но устал. А ведь всё располагало к пьянству, даже к запоям – несчастливые шашни, хандра, дурь... многое другое. Всякое.

Решил найти крайнего, виновного в недуге. Даже в себе искал. Искал, и – нашёл! Не в себе любимом, а в порочном календаре.

Полистал, и – ужаснулся. «Да это что ж такое! Сплошные праздники! В церковном календаре – сплошь... ну, это понятно. Так ведь и в общегражданском! „День кооператора“, «День химика», «День физика», «День утилизатора»... день, день, день... всего на свете день, всего день, всего праздник!

Пьянь без просвета.

И наваял:

Праздничный террор

*«Сердечной тоской, недостаточностью
Были празднички нехороши,
Широким похмельем, припадочностью...
Но был и просвет для души:
Меж праздничками, точно в паузе
Сердечной, забившись в тенёк,
Один был, царапался в заузи,
Как слесарь, рабочий денёк,
Хороший такой, озабоченный,
Сухой такой, узенький, злой,
Праздничками обесточенный,
Царапающийся иглой —
Как будто бы ключиком в дверце,
Мерцал и царапался в сердце...
Хороший, рабочий денек...»*

Наваял стишки-отвороты, стишки-отпусты, и – подальше от соблазнов — ушёл в геодезисты. Благо, с детства мотался по изыскательским партиям. Со всей семьёй мотался: вполне терпимой маманей, молчаливой сестрой, ненавистным папулей-геологом. Много чему научился, летними сезонами шастая по жёлтым советским пустыням. Овладел приборами, хорошо зарабатывал. Сколотил состояние, по тогдашним советским меркам немалое – десять тыщ!..

Но все, потным трудом заработанные деньги выудила жена-шалава. Та, что втихаря зачала и родила от бомжа, убедивши Великого в отцовстве. Убедила, змея! Благородный Великий принял. Признал спроста — евонное чадо!

Может, хотел верить. Может, любил. Какое-то время точно любил. — Слепой, глупый, великий Великий... а она, гомоза рыжая, тощая, огромноглазая, кривоногая, злая, странно влекущая, с осиной талией обалденная колдунья, убедила. И – моталась себе по врачам да родственникам. Вообще чёрт знает куда и зачем таскалась. Умеют лярвы подсочинивать. А он платил. Платил и платил. За всё платил...

Но очередной полевой сезон кончился. А с ним и деньги. Как жить-кормиться? Подался на экскаватор – ненавистное, жвачное, чавкающее железной челюстью со вставными зубами чудовище. Пластался вусмерть, домой приходил в робе, заляпанной мазутом, воняющей солярой...

А шалава возьми и заважничай, барынька. Стала Великому в любви отказывать.

Вонь – предлог убедительный. Даже рабочая, честная вонь, приносящая денежку в дом. Мылся Великий тщательно, но уже не очень к тому времени переживал высокомерное «нет». Так уже наняла змеюка, что закрутил романишко на стороне. И даже писал-воспевал, идеализируя-романтизируя совсем простую, милую бабёночку. Душечку без подлых запросов.

Змеюка унюхала. И – айда терроризировать ревностью! Чёрт знает откуда она взялась, ревность, на каких основаниях? Взялась да взялась. А сама такая ко всему распустёха оказалась! Рассказывал, чуть не плача:

«...выходит, красава, из ванной, – висят...

С правой руки сопля, из левой ноздри сопля. Висят, свисают...

Какой, на фиг, секс? С распустёхой-то!..»

Долго терпел Великий, терпел бессловесно... жалостлив был, да и долг свой осознавал. Понимал, как ни странно, вполне традиционно: муж ответственен за семью. И точка. Ну, потом выгнал, конечно. Изгнал змеюку. Когда открылась подмена. Когда разул ребёночек глазки во всю ширь-полноту, а глазки — чужие. Не великие, не вспученные, как у Великого, а узкие-узкие. Точь-в-точь, как у южного бомжа. Не стал Великий оформлять развод, купил билет да и отправил вместе с «байстрючком» к... матери. К родной матери.

Нозаписал в тетрадке. Похоже, о себе самом:

«Хороший человек всегда дурак. Всем мешает, даже самыми добрыми своими намерениями. Особенно поступками...»

А змеюка-то всё разом смекнула: жена есть жена, попробуй отвяжись, откажи в прокорме ребёнка! И – насела на «папашку»! Через суды насела. И долго ещё не оставляла в покое. На выбитые из простодушного дурня шиши моталась туда-сюда. Возвращалась, виновато и волнуяще для Великого опускала глазки...

Провинциальная «скромница», явившаяся неясно откуда, но ясно куда и зачем, неуклонно требовала, требовала, всё больше требовала! И Великий давал. Пока мог, конечно. Пока денежка не иссохла...

А в итоге почти всё, что осталось от того «романа» со змеюкой сопливой — несколько стихотворений. Воспоминания о «мазутном» периоде любви, да ещё о великой пустыне отыскались в разодранном, как и вся земная жизнь Великого, «архиве»:

«...и я, как сокол на скале,

Сидел себе в Бетпак-Дале.

И я в Бетпак-Дале сидел,

Сидел, во все глаза глядел.

Как хорошо во все глаза

Глазеть в пустыню, в небеса, —

Во все!.. а то один болит

*Весь день глазеть в теодолит.
Он крив, чудовищен, трёхног,
Больной фантом, он сам измаян,
Он здесь чужой, он марсианин,
Косящий диковато, вбок.
А рейка — полосатый страж,
Фата-моргана, джинн, мираж,
Дрожащий в зное... о скала!
О сокол! О Бетпак-Дала!..
И я в Бетпак-Дале сидел,
Сидел, во все глаза глядел...»*

* * *

*«Медленно мысль проползает людская,
Роясь в барханах зыбучих песков,
Как черепаха, уныло таская
Вычурный панцирь веков,
Где мозгов —
Как в черепах
Черепях.
Да и всё остальное
Тоже смешное:
Череп, пах...»*

* * *

И ещё что-то бредовое. От пустынного зноя, наверное:

*«...ты слышал, как монах орёт?
«Анахорет!.. Анахорет!..»
В пустыне камню-великану,
Глухому камню-истукану
«Анахорет!..» —
Монах орёт»*

* * *

Обезьяна в себе

Орал, гордился возмужавший, эклектически нахватанный Великий, чванился — он, дескать, создал «ненаучное дополнение» к частной теории относительности! Зря орал. Относительно это было. И относилось лишь к вопросу о расстояниях. Причём, расстояниях не глобальных, а всего лишь к дистанции между **М** и **Ж**:

*«От каблука мадамова
До яблока адамова
Всего один шажок:
Возьмёт за горло сученька*

*Горяченька, подлюченька,
Улыбкой подкаблучника
Разлыбишься, дружок...»*

Потом, однако, разгордился – показал людям. Зря. Никого не восхитило. Порвал, как много чего. В итоге остались от «дополнения» обрывочки:

«...всё-таки человек – мутант. Видимо, некогда к «обезьяне» был «привит» дух горний, т.е. нечто истинно человеческое, Божеское. ЭТО было привито, как благородная веточка к дичку, к тёмной, белково-углеродной твари. Получился со временем мутант. Человек. Но светлое, божеское в человеке не мстит природе. Мстит – обезьяна. Женщина в некоторых моментах – та же обезьяна. Кривляется перед зеркалом, губы выворачивает, – «вспоминает»...

«Обезьяна в себе»

Из «Максимок» и «наблюдизмов»:

«Бог есть то, что есть. Я есть то, чего нет. Однако, карабкаюсь...»

«Церковь сильна и стоит – Тайной и Красотой. Власть – Силой и Тайной».

«Бог есть то, что есть. Ты есть то, чего нет. Однако, скребись...»

«Муха, медвежонок на крыльях...»

«Страшные жуки... небо скребут!..»

«...вертилёты...»

«Бог есть то, что есть. Мы есть то, чего нет. Однако, стараемся...»

*«С большой буквы – **Пьяный**»*

Рассказ после мясокомбината:

*«Сперва показывали тёлку. Потом разделанную тушу. Потом колбасу.
Потом снова доярку...»*

«Печность. Во избежание беспечности необходима печность.»

Именно печность. Жаркость...»

«...с трудом, удивительно легко запомнил усвоенные дедом заветы отца...»

О чём сие? Неизъяснимо...

Неизъяснимое осеняло Великого, курировало, вело. Куда? Никто не скажет.

Но вот тоскливого идиотизма мирного свойства недоставало. И он, как человек пронизательного ума, осознавал это. А всё равно сносило на пути буйные, невразумительные. Скорбел, каялся, писал заунывные плачи. И brutальные заплачки, и вои, и... чёрт ещё знает что!

*«...до свиданья, жизнь, окаянная,
Прощевай, злодей собутыльник!
Здравствуй, утро моё покаянное,
Здравствуй, белый мой брат, холодильник...»*

Жизнь его, промысленная где-то в горних сферах не иначе, наверное, как житие, змеилась и пласталась пыльным долом.

Ему была предначертана судьба юродивого или блаженного, коим внимают, чтут и превозносят, многозначительно трактуют слова, поступки. И даже создают иконы для вящего прославления.

Увы, жизнь не дотягивала до жития. Точнее, она была равновелика житию, но в каком-то очень уж диковинном изводе. Скорее всего, тянулись параллельно две эти линии – одна видимая и грубая, другая нежная и незримая. Простирались единостью в бесконечное нечто, и всё никак не могли пересечься.

То, что они где-нибудь пересекутся, факт для меня настолько несомненный, что бессмысленно напрягать читателя излишними уверениями.

По крупцам тут, в обломках эпоса о Великом, размечена лишь пунктирная карта жизни, в которой он жаждал мира, творчества, любви. Его ли вина, что жизнь постоянно оказывалась грубее истинных чувств, помыслов? А нужно ему было совсем немного. Гораздо меньше, чем остальным. Любил по-настоящему лишь истинно простое, и самое великое по сути: луга, рощи берёзовые, реки, горы...

Но и там лукавый подбрасывал грязные грёзы. О, Великий, Великий! Почему же не хранил тебя твой Ангел? Почему так трудно ты шёл через мир?

И сваркой глаза выжигал, и на огромном экскаваторе надсажался, да так, что без поллитры после смены заснуть не мог. И превращался в дебила, и писал злобное нечто, про долю-недолю земную. А зачем?..

Зачем надсажался, как дебил? Деньги. Ничего нового, просто деньги. Завёл жену, родился ребёнок. Ценные книги на чёрном рынке кусались так, что...

Да ещё, как назло, к тому времени пристрастился к **настоящему** чтению. Надоели грязные авторы, голодными шакалами кинувшиеся вдруг описывать все виды извращений, орально-анальные и прочие выкрутасы. **Это** уже разрешили, а **настоящее** всё ещё пребывало под запретом. Странные были времена.

Цензура, уже полусоветская, перманентно совершала невообразимую глупость – запрещала книги старых русских писателей, эмигрантов, философов. Даже поэзию эмигрантскую, не имевшую никакого отношения к политике, запрещала.

Когда зарубежные писатели спрашивали советских товарищей: почему бы не печатать востребованные книги, те отвечали с душевной простотой – с бумагой в стране напряжёнка. Зарубежные товарищи изумлялись: как, у вас нет бумаги, чтобы печатать деньги? Не печатали...

Над глупостью этой долго и горько смеялись. Все. Великий же молча и сурово решил задачу – пошел в УМС, кончил курсы, сел на экскаватор, где платили круто по советским меркам – от трёхсот рублей и выше. В итоге, остался творческий след. Увы, невеликий. Обрывочки:

На карьере, на закате...

*«Будто бредит грузный варвар
Вгрызом в сахарны уста,
Будто грезит грязный автор,
«Пласт оральный» рыть устав,
Церебральный экскаватор
Дико вывихнул сустав,
И торчит, сверкая клёнкой,
И урчит, срыгая клёкот,
Будто грёзу додолбил
Засосавший вкусный локоть
Цепенеющий дебил...»*

Индюк думал...

Дебил? Были признаки, были. Хотя... в какие выси порой заносило! Даже в ранние годы. Не каждого занесёт.

Когда Великий узнал в последние школьные годы, что стихи бывают не только длинные и противные, спросил обнадёженно: «А сколько, минимум, строк бывает для счастья?..».

Я ответил – «Три».

Объяснил, что есть в стране Японии Танкисты и Хоккеисты. Танкисты пишут пять строк, Хоккеисты три. Произведения в этом жанре называются соответственно «Танка» и «Хокку». Дал почитать антологию японской лирики.

Танкисты Великого почему-то не заинтересовали. А вот хоккеистами очень даже увлёкся. И много в том преуспел. Для начала составил коротенькое лирическое хокку с длиннющим названием. Кстати, не в последнюю очередь поразило Великого то, что названия у «хоккеистов» были порою длиннее самих миниатюр:

Проходя по шумному городу, вижу одиноко грустящую девушку

*«Сердце сжалось от нежности.
Среди гвалта и сумасшествия, на опустевший скамейке —
Русая тишина».*
Я похвалил.
Великий вдохновился и – записал!..

Дико работоспособный, одержимый творчеством, да и любой работой, подворачивающейся, как водится непредсказуемо, через месяц принёс на погляд мешок трёхстиший, которые трудно было отнести к образцовому «Хокку», ибо ни слоговых, ни ударных законов там

не соблюдалось. Да и тематика слишком уж не по-японски созерцательная... похабненькая выныривала.

Что тут попишешь? Русским был до мозга костей.

И всё же самое чудовищное из гадовых трёхстиший я запомнил. Именно в силу чудовищности и русскости. Да оно так и называлось: **«Русское хокку»**:

«Осень...

Усы падают

В суп...»

А ещё «Утреннее хокку»:

«По чёрной зеркальной глади

Белые скользят облака...

Кофе пью на балконе!»

А ещё «Ночное хокку»:

«Снял нагар со свечи. Зажёг...

Упёрся в чернозеркалье окна...

Непробиваема ночь».

Хорошо запоминать, иногда и записывать, пусть глупое, о быстротекущей...

На уроке литературы, при обсуждении «Главной Глыбы», романа «Война и мир», халдейша потребовала кратко сформулировать замысел и сюжет эпопеи.

Глупее, кажется, нельзя придумать. Великий придумал. – Зарылся пятернёй в рыжие, ещё вполне кучерявые волосы на бедовой своей головушке, задумчиво устремил карие, ещё не выцветшие глаза в старый дощатый потолок, по которому оборванной струной завивалась электропроводка, и рек:

«Болконский князь был старый

И молодой,

Седой владел – гитарой,

Младой – дудой...»

Докончить импровизацию, а по сути литературоведческую экспертизу не дал халдейшин визг: «Вон, вон из класса, сволочь!.. К директору!.. И ни с родителями, ни без родителей не появляйся больше... никогда, никогда!..».

Но директриса простила. Эта сочная дама, по счастливому стечению обстоятельств, недавно познакомилась на курорте с громадным папулей идиота. Воспоминания, видимо, остались не самые плохие, и она решила не омрачать их изгнанием отпрыска.

И Великий таки закончил школку. Пусть и с немалым опозданием.

Впрочем, периодически мстя за нелепо проведённые в заведении годы. Мстил стишками, часто несправедливыми:

*«Высокая болезнь поперх барьеров
Приличия скакала каплей ртути,
Безрадостной без градусника. Грудь
Без лифчика тряслась. Для пионеров
То было круто: завуч, молодая
Учительница первая, а вот,
Литературу, мля, преподаёт,
Грудями авангардными бодая...»*

И ведь не просто закончил школку! Злил халдейшу ещё не раз. Что замечательно, полем битвы оказывался всё тот же Толстой, боготворимый халдейшей. И она его упорно впаривала, в нереальном для балбесов объёме.

Имела однажды неосторожность доверительно поинтересоваться у класса: какой из романов гиганта более всего люб? Класс настроенно молчал. Но Великий не мог упустить такой удачи, бойцовски вскочив из-за парты, разрубил тишь:

«Анна и Каренина!»

– «Что-о-о? – изумлённо завывла несчастная и, наливаясь багрянцем, простонала коронное – вон, вон, вон из класса!..»

Стон был охотно удовлетворён. Но уже на самом выходе, приоткрывши дверь, Великий, выдохнув неизбежное «Гы-ы-ы...», победно прохрипел на весь грохочущий, мощно резонирующий пустотами коридор:

«И – Вронская!..»

Это было настолько дико и ошеломительно для бедной учительницы литературы, что даже не стала выносить исторический факт на педсовет. А посему, посильно латая дыры, честно воспроизводим. Из песни слова не выбросишь. А это, согласитесь, была не худшая, хотя и сдобренная изрядной долей хрипотцы, песня.

Шли годы, шли... ползли, кувыркались, летели. Но людям свойственно, как это не при-скорбно, стареть. В любое время года, века. Стареют, невзирая на скорость продвижения в пространстве-материи. Старел и Великий. Но стишки, строчки о всяком разном рождались, заполняли бумажки, тетрадки...

Старел... а ровесниц своих вспоминал, иногда со слезой. И плакал, и пел, и вздыхал. Сожалел об утраченном. Якобы утраченном. Ибо любил всегда одну лишь только Тоньку. А она, сука, урыла в другую страну. Навсегда. И ранила Великого. Навсегда. Но он, сильно уже поветшавший, траченный, словно молью, жизнью,

выдал-таки, песнь. Гимн ровесницам:

*«...уже не потянешь лобию подряд
В театр, в подворотню, в кусты,
Про девушек наших уже говорят:
«Со следами былой красоты!..»*

И выдохнул, и выдал ещё:

*«И всё равно я вытью – За!
За негу ног и милых рук,
За бесшабашные глаза*

Климактерических подруг!..»

И ещё нечто... стоит всё-таки привести:

*«Чарующее слово д е ф л о р а ц и я...
О, необыкновенные слова!
Мерещится какая-то акация,
Калитка, на головке кружева,
Волнуется всё это, несказанное...»*

*Спросил я как-то девочку одну
По нраву ль ей такое слово странное?
И получил ещё одну весну
Невинную... считай – непреткновенную...*

Люблю с тех пор лапшу обыкновенную».

Врал. Любил только Тоньку. Но врал...

Из Тетрадок:

«Игра слов. Восхищение, возжеление... какое чувство сильнее? Возжелеть женщину, значит – желать её, хотеть. Восхитить – похитить, т.е. украсть. Не восхотеть, а именно восхитить. Пожалуй, в последнем варианте «состав преступления» круче. Но если слегка изменить в заповеди: «Смотрящий на женщину с возжелением...» одно слово, если изменить «Возжеление» на «Восхищение», что получится? «Смотрящий на женщину с восхищением...»... – разве зазорно? Смотреть с восхищением – предосудительно? А ведь женщина не только предмет обожания (не путать с обожением), поклонения, но и – восхищения. Во все времена. Игра слов, батенька, игра слов...» – торжествующе ехидничал Великий. Любил это дело, гадёныш. Не всегда, но...

Нередко желчный, провокативный даже Великий.

Хоккеисты надоели Великому. Рогожный мешок с салфетками и обрывками бумаги, испещрённой трёхстишиями, пропал. Кажется, бесследно. Никто из доброжелательных собутыльников Великого, изредка подкидывающих мне с оказией старые салфеточки, а то и форматные листы бумаги, ничего не прислал из «японского» периода творчества.

Надоели хоккеисты? Увлёкся частушками. И, поскольку писал целыми ворохами, когда заводился, решил послать их на конкурс в Литинститут. Бедный, бедный... хотел сделать сюрприз, явиться вдруг однажды на пороге моего дома победителем, с лавровым венком на рыжей, кучерявой ещё башке. Эх, промахнулся...

Затесались в конкурсной рукописи частушки не шибко пристойные. Они заведомо не могли пройти советскую комиссию:

*«Бывает нежное говно,
Бывает грубое оно...
О чём беседовать с любимой
Мне абсолютно всё равно».*

Ничего, умный рецензент порвал бы втихаря. Но в рукописи были не одни лишь непристойности. Решил позаигрывать с уважаемым учреждением, отличавшимся даже при Советах некоторым либерализмом. Присовокупил частушку, якобы от лица разочарованной девушки:

*«Мой милёнок, проститут,
Поступал в Литинститут,
В рифму врал, душой и телом
Торговал и там, и тут...»*

«Индюк думал, да в суп попал» – вот уж это тот самый случай. Заигрывание было заведомо жалким. Да и плачевным в итоге.

После этого он слова доброго не сказал про «творческий вуз». Да и про девушек тож. Закурил горькую, дешёвую сигарету «Архар», побрёл восвояси...

*«...и побрёл Дурак-Иван,
Дымом съит, слезами пьян,
Поговорки поминать,
Камни во поле пинать...»*

Довели до белого колена

Попинал камни Великий, попил-поел горькую... задумался. И решил в одно из ознобных похмельных утр: а с какого перепугу его, Великого, отвергли? А что сейчас вообще в моде, в фаворе?

И – зарылся в океан современной поэзии, где царствовали тогда метафористы, концептуалисты, куртуазные маньеристы... ну и прочий мутняк. Начитался, задумался:

«А что тут, собственно, выдающегося? Что сложного? Почему в фаворе? Нешто так не смогу? Смогу. Попробую, а там пойму – из чего эта хрень варится?..»

И попробовал. Склал, а потом сложил папку образчиков «современной креативной поэзии». Кое-что из той папки, почему-то под названием **«Г...о»** сохранилось.

Электрический романс

*«Пышной радугой, негой пшеничной степи
Он ступает так мягко на ласковый ток,
А загривок затронь – искр и молний снопы!..
Электрический кот.*

*Он ныряет в неон, он лудит провода,
Он купает в луне золотые усы.
Зелен глаз его. Место свободно? О да!
Кот сияет в такси.*

*Он в корзинке везёт электрический грог
Балеринке ночной, у неё в позвонках
Переменный играет испуг и зверёк
В постоянных гуляет зрачках.*

*И юля, и пылая, с порога она
Запоем – так-так-так, мой божественный кот,
Отвратительный кот, черномор, сатана,
Вырубайся скорей, энергичный мой гад,
Дуремар черномордый, скорее ныряй,
Я балдею, мур-мур, ненавижу, скорей,
Я тащусь,
Электрический кот!»*

Любопытней всего оказалось резюме в самом конце папочки:
*«Из трёх щепочек всё это складывается, из трёх щепочек, выродки! А ещё из капелек
жиденького г... наверху... вроде струйки крема на торте...»*

И, озлившись на «законодателей» мод, застрочил о «творчестве»:

Стареющие постмодернисты (Из папки «Г...о»)

*«Ржёт рыжий, наступив на шланг.
Цирк мокр. До икр. Отпад. Анилаг
Заик и мазохистов. Клизма.
Каюк компании. Наш флаг
Под колпаком у формализма.
Мы – фланг? Браток, да ты дурак,
Тут – формалин, тут с аквалангом
Не прорубиться. Мы в реторте.
Ты видел эту морду шлангом?
А этим шлангом, а по морде —
Не хило?.. Я о модернизме.
А ты о чём? О сладком мирте?..
Да брось ты!.. Он как струйка в клизме,
Поэт в законе... чей кумир ты?
Ничей! Ужонок невелик ты...
Пижон, мы оба здесь реликты.
У них свой кайф – «Полёт рептилий»!
А наш рожон? Наш – лёжка в иле.
И я смешон. И я ушёл бы.
Куда ушёл бы? – Из-под колбы?
В песок на штык, и в жижу рожей?
Ништяк! Ты не смотри, что рыжий
Ничтожество, ты зал послушай —
Ведь ржёт, блаженно потерпевший!..
И так везде. И всюду падлы.
...и что мы, брат, без этой кодлы?..*

Приговорил «креативных». Отщёлкнул костяшку.

Впрочем, задумался. А почему так назвал папочку? Словно само выскочило. И решил, поразмыслив, что это не оскорбление творчества, а по сути – память. Ностальгия по минувшему. То есть, и в самом деле – Г. В строго метафизическом смысле. Вот как вдох и выдох. Вдыхаешь чистый воздух, выдыхаешь углекислый. Голубенький дымок вьётся – над папиросой, изо рта прёт – серый. В рот отправляешь свежую пищу, в унитаз переработанную. Жизнь переработанную, аминокислотами.

Так в «Золотом Веке» принимали простой продукт, чистый воздух, свежую пищу, а в «Серебряном Веке» выдавали сложную, ассоциациями усложнённую, витаминами, добавками, аминокислотами – «Продукцию». Порой даже очень красивую, завитую крендельками, отдающую изысками, «ароматами»...

А позже модерн с постмодерном выдали совсем уже переусложнённую, густо пахнущую бесконтрольными, беспорядочными выбросами спермы, свальным грехом перерасплодившегося человечества «Продукцию». Модно, красиво.

Ностальгия – решил Великий – воспоминания, веянья... вот и озаглавил папочку висельной буквицей. Даже наваял Элегию о... Г. Без иронии, издевательства над предметом. Фиксировал факты, делал выводы. И всё. Целиком «Большую Элегию» о девяти эклогах найти не удалось. Отрывочки попадаются:

*«...что забирается в души нам,
Помнится чисто, светло?
Пережитое, минувшее,
Всё, что сквозь нас же прошло,
Что пережёвано, прожито,
Выжато, извержено,
Славное, милое прошлое...
Что это, как не Г...о?..»*

.....
*«...в космогонических ралли
Миром поверженный в шок,
Зрячий узрит магистрали,
Теплоцентрали кишок,
Где среди звёзд, в перержавинах
Спиралевидных кривизн,
В заузьях и пережабинах
Жилится сверхорганизм —
Спазмами, раскрепощением,
Перемещением от
Чистых истоков к сгущениям
Чёрных, как жизнь, нечистот,
И одурманенный снами,
Вдруг прозреваешь, оно
К устью грядёт, вместе с нами,
Все мировое г...*

.....
*«...может быть там, в дальнем мире,
Зыблясь, дойдут от земли
Не золотые цифири,
Но завитые нули?..»*

«...это и есть „сложное творчество“ – медитировал Великий – Ничего личного, никакого унижения. Голая констатация. Папка Г. То есть, Говно. То есть, – Говядо. Производное от слова Говядина. Что в итоге и есть – Говно. Производное от говядины, от всего мясного, тельного, мясообладающего, прошедшего через мясорубку желудка, кишечника, и перешедшего в статус ГОВНО».

Не только про литературу, про «кину» даванул ехидное. Никого не пожалел. Понял – все жулики. Даже самые-самые, крутыми путями идущие. *«Какие такие пути? Да это ж всё было в советском кино. Только лучшие ведь было!»* – возопил оскорблённый после очередного «креативного» кинофестиваля. И выдал:

«Новая волна»:

*Там крутили крутое кино.
Там Чапай уходил на дно.
И с жемчужиной, гад, возникал,
Скаля зуб, у Карибских скал,
И вздувался, и пучил глаз,
Земноводный, как водолаз.
И опять уходил на дно...*

Там кино ходило в кино...

И ещё, на салфеточке. Всё про то же, про тех же. Забодали плагиаторы, имитаторы, прочее всякое. Озаглавил хорошо, юридски:

«Довели до белого колена»:

*Я зол. Я болен. Всё политики.
Ворьё!.. А тут ещё упёр
Мой полувер из полуклиники
Какой-то полувор!..*

* * *

А потом шатануло Великого. Шатануло ассимметрично – дал крен в молодёжную поп-культуру. Рэпа наслушался, и — расплевался с «рэп-маразмом»:

«Да это ж сопля! Молодняк, хрена ли смыслит? Похабень одна... да и рифмочки того... жиденькие...»

И – завернул крутяк! Так завернул-зарифмовал пробник, что даже молодые реперы изумились:

«Уд...

П...

*да...
Тут
Всег*

Да
Что
Ни
Будь
Как
Ни
Будь
Где
Ни
Будь
Да

Е...

...уть»

Изумились рэперы, головками замахали – нет, нет! Не понял Великий – как нет? Но потом дошло. — Отвратила не нарочитая похабень, этим ли удивишь. Нет, высокие снобы, нисходящие «вниз», к «народу», забраковали перл по иным, невероятно тонким эстетическим мотивам:

«С рифмой, братан, перебор. Сейчас так не покатит – пил не схавает. Покорявее бы, пографоманистей. А так... подавится быдло».

Попыток прославиться, тем не менее, не оставил. Принёс объявление в газету. Звучало страшно:

«ЗАРИФМУЮ – ВСЁ!»

И приложил образец:

*«Вновь японец, дебошир,
Глаз косит на Кунашир,
А другой свой глаз, шайтан,
Всё косит на Шикотан,
Но, горяч и шевелюч,
Шевелится Шевелуч...»*

Стишки не взяли. – Политика.

Так и оставшийся вечным наивняком, Великий проплакал в тетраточку:

*«А я все верю в чудеса.
Сказали, их на свете нету.
А кто сказал? А чьи глаза
Читали разнарядку эту?...»*

Катилось времечко, покатывалось, менялись моды, шаблоны, страсти... Надумал Великий в мазилы податься. Проорать миру **всё-всё-всё** не только словом, – красками! Это было одно из самых неудачных предприятий. Ну, да из песни слов не выкинешь.

Насшибал деньгу, купил тюбики, кисточки. Холст натянул на раму, без подгруновки, правда, денег не хватило, и – наваял картину. Историческую.

Я, возможно, один из немногих, успел полюбоваться. То ли кто перекупил в трудную минуту, то ли затерялась. Жалко. Картина была эпохальна, звучала сильно:

«Солженицын читает Ленину книгу «Архипелаг Гулаг»

Думаю, всё же уничтожил. Стыд заел. А жаль. Там, на обратной стороне холста было (хорошо, успел списать):

*«Неизвестно откуда и чего набрались мы все,
Неизвестно зачем потух
На могиле неизвестного генералиссимуса
Вечный красный петух...»*

Писал Великий стилем. Иногда грифельным. Что по прошествии времени составило проблему – бледнели, стираясь, буквы:

*«...а ты пиши, а ты пиши,
А ты подохни над строкой,
А ты чини карандаши
Своею собственной рукой!..»*

И чинил. И утешался:

*«Вишь, рубаи сижу-рубаю нынче – думаю.
Рифма – рубь. Рубли рубаю нынче – думаю.
Ну а фули? Хали-гали, мат на шахе, шах на мэ,
Славно думаю-рубаю нынче – думаю...»*

Физиология

Думаю, не просто так, но глобально-космически озаботился Великий вопросами пола. И очень был недоумен.

– «Зачем? – возмущался в пивной перед синяками – *зачем несовершенство: у него отрок, недорослий до совершенства, у неё дыра, недорытая до Истины? Вот ты, пропиляя кругломордая – обратился с кафедры к одной из постоялиц (пропиляями называл пьюшек, пропоиц, завсегдатаюшек пивняка) – почему ты недовольна мужем, мужиком вообще? Недовольна. А собой – довольна. Довольна, гадина! Вот мужа у тебя и нет. А если б все были андрогинами, гермафродитами – все были б довольны! Правду реку?..» – спросил возбуждённо. И когда «пропиляя» послала его подальше, возопил, стоя на шаткой половице пивняка, как на ветхой клубной сцене:*

– «*Молилась ли ты на хер, Дездемона?..*»

Прохрипев неизменное **гы-ы-ы**, срыгнул, растёр рыготину носком «говнодава», хрипло пропел:

*«Ни моды, ни мёда, ни блуда, ни яда,
Ни сада... какая ты, к ляду, наяда?..»*

Нашлась запись. Не очень пристойная, но искренняя. Как последняя «**Правда Жизни**». Сделана, похоже (после сопоставления некоторых дат и событий), в пограничной ситуации: где-то после разрыва с любимой Тонькой, попыткой суицида и тюрьмой. А скорее всего, прямо в тюрьме. Клочок мятой бумажки был вклеен в тетрадку явно после отсидки. Тетрадок там, вроде, не положено.

Всего строфа, но сколько вместилось!.. боль, горечь Великого. Плач великого Неандертальца о нелепости кроманьонского мира. Обида...

*«И понял я, что я с собою дружен,
И понял я, что мне никто не нужен,
Ни терпкий х..., ни сладкая п...
Я сам в себе. И я в себе всегда»*

Из «гордынок»:

«Беда в том, что я не талантлив, а гениален. Это плохо сростается на земле. Читайте, скоты, шедевр Бодлера „Альбатрос“. Там о больших крыльях, мешающих ходить по земле... я птица с большими крыльями!..»

Птицу с большими крыльями стреножили. Изловили. И не менты, имевшие к тому некоторые основания, поскольку пару раз торговцы колхозного рынка жаловались на рыжего малого. Мол, приценивается, приценивается, торгуется якобы... а потом чего-нибудь не досчитаешься на прилавке. Но, за неимением улик, отпускали. Малый успевал избавиться от добытого. Клептомания, клептомания... недуга этого было никак не утаить, не избыть. Что было, то было... мучило...

Нет, не менты изловили, — работники военкомата. И снарядили в стройбат. Человеку с двумя судимостями, пусть даже по малолетству, доверить «ружо» не могли.

– «*А поди-ка, попаши...*» — сказали форменные товарищи. И пошёл...

Когда Великий, в ряду многих заточённых на «Губу», подпал под безраздельную власть иезуитски умного, но очень подлого начальника, чуть было не пропал. Ибо подпал под его изошрённые издевательства. Хорошо ещё, не столько физические, сколько моральные. Даже интеллектуальные. Что ранило, впрочем, не менее чем зуботычины.

Однажды злодей задался ехидным вопросом, логической ловушкой армейского философа: а может ли **злое добро** торжествовать над **добрым злом**? Великий в силу природно чистого идиотизма, единственный решился, и – разрешил неразрешимую, казалось, апорию. Гаркнув неизменное «**Гы-ы-ы...**», дерзко выдвинулся:

– «*Может!*»

– «Как?»

– «А так – злой мент ловит и прячет за решётку милейшего маньяка...».

Был отмечен начальством. Досрочно переведён из «Губы» на общие основания.

Общие основания и подкосили. Даже едва не прервали мерцающую нить, ниточку жизни, призрачно, полупрозрачно, едва-едва зыблущейся жизнёшечки нить...

Стоял Великий на дне котлована, вырытого для нового складского корпуса, ждал подачи сверху очередного бревна. А нетрезвый товарищ возьми да урони то бревно, метров этак с трёх, прямо на Великого. И пробило оно несчастливую, ещё огненно-рыжую башку, почти до мозгов.

Отправили бездыханного в военный госпиталь имени Бурденко, в нейрохирургию. Повредили там скальпелем великие мозги, или не очень уже великие, или не очень уж повредили, теперь не рассудить. Был чудак-человек, остался чудак-человек. Внешне не изменился, как рассудить?

Написал, правда, по горячим следам нечто придурковатое. Ну, так и много чего эдакого выходило из-под злат-пера.

Лежал, отлёживался... бредил бабой в госпитале, грезил, и – нагрезил. Или набредил. Навалял про то, как неожиданно-негаданно явится к ней, пока ещё не определённой, но уже возлюбленной. На всю оставшуюся жизнь. Тоньки давно след простыл, что попусту грезить? И хотя память о ней до конца не простыла, навалял не о ней, а о некоей грёзе. О том, как явится в одно прекрасное утро, неузнанным... и она, эта баба-грёза, – вдруг! – полюбит его. Просто так, ни за что...

Целиком грёза под названием: «**На заре. Не буди, не вздумай!**» так и не обнаружена. Обрывочек только:

«...я пришёл к тебе с приветом

От Бурденко...

Но об этом

Я рассказывать не стану

И подмигивать не буду,

Фигушки!..

Бочком к дивану,

К сонной, тёплой кулебяке

Подкрадусь, и тихо-тихо,

Сна не возмутив, как цуцик,

У помпошки и пристроюсь...»

Необходимо всё-таки поведать кое-что из прежней творческой жизни. Из предтворческой, так сказать, биографии. Во всяком случае, об одном из пиковых моментов. Вот он, тот самый «ужасный случай», повернувший судьбу Великого к прекрасному. Тот миг, когда его, наконец, – полюбили! И, что важно, полюбила любимая. Не навеки, а всё ж:

«О, нежная, нежная... всё во мне пело,

Я всё рассказал ей, чем сердце немело,

Всю жизнь мою! Я не солгал ей ни раза!!

Безумная, о, как она побледнела

В тот миг, когда я (по сюжету рассказа)

Печально заснул и упал с унитаза...»

Написал стишки, вспоминая падение во сне и сидение на полу, в обнимку с унитазом. А потом и ещё припомнил, как глядел туда, упавший, обезумевший, сидел и глядел в эту белую, фигурную пропасть унитаза. Как показалось в тот момент, его осенило. Увидел оборотную сторону этой фаянсовой фигуры, и – узрел нечто из явлений баснословного антимира. Не удержался, поведал неведомое миру. И записал «эврику»:

«Антипопа – унитаз!»

То есть, унитаз показался ему в то мгновение анти-попой, с выходом трубы в бесконечность, в подземелье канализации, а не внутрь, как у живого существа.

Тема физиологических конфузов преследовала Великого неотвязно, судя по найденному в архиве. Нашлась миниатюрка (обрывок?), где излагалось событие, похожее на факт личной биографии. Неясно, правда, почему в третьем лице?

По некотором размышлении можно заключить: в силу природной... ну не то чтобы скромности, но застенчивости, что ли (иногда болезненной даже застенчивости), Великий решил приписать личный биографический факт имяреку, что, как известно, даёт некую раскрепощённость и остранённость писанию. Даже при нелепой гривуазности изложения. Взгляд, можно сказать, сверху:

«Чудо объяснения в любви»

*«...увлекши, наконец, в лесопарк подругу (к облику ея и, возможно, душевных качеств ея же питалась давнишняя страсть, а также страстное желание объясниться и, наконец, на законных уже основаниях овладеть возлюбленной), испытывая мучительные, как всегда в таких случаях нево время, позывы опорожниться, он совершил **чудо**. Отчаянное до нереальности чудо!»*

Итак, дислокация:

*Задумчиво бродя меж аллей, они набредают на столетний дуб. Останавливаются. Мечтательно озирают пейзаж. Запрокидывают головы. Небо. Бронзовая листва. Напряжённая минута перед **событием**...*

Они элегически прислоняются к стволу в два обхвата – по разные его стороны...

Он (незримо от неё) растегивает ширинку и проникновенно – с задыханиями и паузами – впускает ей нечто любовное и, одновременно же, опорожняет мочевой пузырь. По мере того, как протекает сладостное освобождение от наболевших слов и накипевшей влаги (струйки бесшумно сползают по каньонам теневой стороны дуба), речевые паузы становятся всё реже, взволнованные задыхания глуше, тон объяснения в любви уверенней, вдохновенней...

И вот, наконец (ширинка благополучно застёгнута) – заключительный, победный аккорд! Сближение по кругу ствола – по направлению друг ко другу.

Решительное объятие...

Объяснение принято!..

Жаркий, свободный ото всего поцелуй!..

.....

Они жили долго и счастливо.

И едва не умерли в один день.

В день, когда он рискнул рассказать ей всё.

Всё о том самом «чуде»...

.....
Обошлось.

.....
*Да и где их набраться, общественных туалетов?
Особенно в «Час Пик»...*

Из выкриков и «озарений»:

«Харизма? Пожалуйста: Ремембе – в харю. Мамбе – в рог!..»

«...эка шишка ананас!»

«Кол – стул мазохиста»

«Художник и совесть... дичь! Это – про нехудожника».

Очень мучила Великого, как и многих других великих, неразрешимость и необратимость косной... слишком косной временной константы брэнного бытия.

«Как это необратимо время? Не может такого быть! – возмутился однажды – все мифы, сказки, предания твердят обратное – время обратимо. Как вперёд, так и назад. Но как доказать? Формулами?.. Пробовали. Не убедили. Высоко, заоблачно, дымчато. А что, если спуститься в самое то – в нутро человека, а?..» — высокотеатрально воскликнул однажды Великий и, порывшись в себе, помёл по амбарам — по брюху, по «ливеру», по черепушке. Поскрёб по сусекам и отыскал, как показалось в эвристической горячке, наиболее верный, самый нервный – эротический! – узел.

И сочинил апорию про физиологическую обратимость времени.

Потом, кажется, разочаровался в каких-то пунктах апории, не стал развивать далее. А жалко. Что-то важное ухватил ведь! Вот всё, что осталось на разорванном клочке. Возможно, самая концовка:

*«...так, сосок помещая на зуб,
В виноград превращая изюм,
Время вспять обращая, на ум
Изумленья ползёт: в море схем,
Посулатов, задач, теорем
Обратимости времени...
Но
Где решенья? Темно.
Мудрено
Времена выворачивать, вспять,
Словно корни из тьмы, и опять
Взад вращивать...
Нежных щедрот*

*Нет у схем-теорем.
А Эрот
Всё решил, не поморщивши лоб.
Почему? Потому что – любовь!..»*

А потом пришла Мысль... **Мысль о всеобщей справедливости**

*«Жру икру. Чёрную.
Ночь нежна...
Жить
Можно, брат. Спорную
Мысль не разрешить.
Нет, не разрешить...
Скопом не решить!
Не решить, мать честна,
Так, чтоб враз, начисто —
Гордо, на миру...
Вот решил. Начерно.
И сижу.
Жру.*

Из самокопаний и самоедств Великого

«Мы — в себе. И не понимаем себя.

Вот я... кто я такой? Не тот я, который внутри меня и, вроде бы, знает сам себя (т.е. меня), а тот, кого другие люди видят, воспринимают со стороны.

Он наверняка не совсем тот я, которого я лично знаю, изучил до мелочей привычки, особенности характера, организма, сердцебиение, пульс...

*Не тот я, который мирится сам с собой и считает себя, в общем, сносным человеком, а тот, кого знают друзья, коллеги, родные... да и совсем незнакомые люди. Кто **вот этот я**, со стороны? А вдруг он (этот я) просто невыносим, слишком упрям, капризен, не шибко умён? – Ужился бы я с таким вот, не послал ли куда подальше и не прекратил бы общение за полной его невозможностью и, даже, может быть, отвратностью?*

Это просто необходимо выяснить! А главное, это же выяснить можно. Ну, пусть не до конца, но всё же. Как? Тут всё дело в силе воображения.

*А вот хотя бы так. – Я напрягаю воображение и представляю, что моя любимая женщина – это **Я**. У неё мой пульс, мой характер, мои повадки, таланты и бесталанности. Она живёт рядом со мной, постоянно на виду. Только это не она, а я.*

Я её люблю, и вынужден мириться с её вздорностью, капризами, дурным характером, крепкими сигаретами, водкой. Она порою так осточертевает мне, что я могу её бросить, и мне порою очень хочется это сделать.

Но я вынужден мириться.

*Во-первых потому, что люблю. А во-вторых потому, что **она** – это **Я**, и я просто не могу выйти из себя. Как выйти? Накак. Да, но она же такая невыносимая!..*

Впрочем, а такая ли уж невыносимая? Она понимающая, ласковая, отзывчивая, добрая, пронизательная. Да и просто красивая... как же я её брошу? Нет, тут плохого и хорошего примерно поровну. Нет, хорошего, пожалуй, немножко больше.

Решено. Не брошу.

И даже если это не любимая женщина, а близкий друг, друг-я, другое я, всё равно не брошу. Потому что постараюсь сделать его лучше. Это точно. Я не стану рассуждать как тот цыган, решавший при взгляде на замызганных детишек дилемму:

«Этих отмыть?.. или новых нарожать?»

Никакой дилеммы! – Я стану отмывать сам себя, и любимую, и друга, и всех дорогих мне людей... почему-то же они мне дороги?

Да ведь это я и есть! – Я, вышедший, как в открытый космос, из себя, и взглянувший на себя же издалека...»

И зачем-то приписал снизу:

«Есть стихи – стихия.

Есть – поисковая система»

И тут же, вероятно после прочтения корявых сочинений Шах-Мазоха, случайно выловленных в библиотеке, куда со временем повадился забредать не реже, чем в любимую пивную, приписал, а потом провыл со знаменитой кафедры «синякам»:

*«Шах Мазоха, большой стадострастник,
Рассуждал: «Если боль, это праздник,
Чем больше – тем слаще. Да-да!
А чем хуже – тем лучше. Поскольку
В боль миров просочит свою больку
Несравненная польза вреда»*

Недоперепой

Пользу вреда – вреда для себя – Великий испытал, и не однажды. Но однажды возник особенно резкий порыв, можно сказать вихрь на юном переломе судьбы. Словно весть о чём-то хорошем. Вихрь, впрочем, выветрившийся довольно скоро, переродившийся у него в навязчивый зуд... точнее, в неотвязную грёзу – необходимо во что бы то ни стало, как можно скорей, накопить денег!

Но откуда их было взять школьнику, в советские-то годы? Неоткуда, ответит помнящий. Кроме что, разве, бросив школку и пойдя вкалывать. А посему последние школьные полгода Великий провёл в ПТУ. Решил выучиться на сварщика. Вышло не весьма лепо. То есть, совсем не вышло. А вот затея выучиться на экскаваторщика более-менее удалась. Заработал толику денег, снял жильё. Более того, пригласил возлюбленную для совместного проживания. Тонька высокомерно, но туманно кивнула, что было принято за высокое согласие.

Однако ж судьба-злодейка и тут не сомкнула недреманное око, не простила великодушно очередную восторженную нелепость...

Возвращаясь к первой, судьбинно осознанной попытке срубить бабла, нужно признать – это была неудача. Фальш-старт. При всём том, что это было серьёзное начинание, настоящий крепкий порыв, обернулся он горечью, болью...

Сварщиком Великий проработал только три дня. Плохо и наспех обученный делу, умудрился в первые же дни посадить на стройке зрение «зайцами» от электросварки. И, с понесением ущерба здоровью, грустно вернулся в школку. Возлюбленная не выразила эмоций. Царственная её натура ещё не была подкошена знаменитым объяснением в любви (падением героя в сортире), и она ещё не стала безусловной любовницей Великого. Просто молча пустила за свою парту. Но...

Слышу, как они бьют, старинные часы со звоном, бьют издалека, с закопчённых стен незабвенного ПТУ, слышу...

В день окончания училища Великий выпил хорошо. Но мало. Ещё мало, но деньги уже кончились.

Вернулся в родное ПТУ, стащил настенные часы и пошёл продавать за советские деньги в советские же учреждения. Вначале в те, что поближе. Просил пятёрку... уступал за четыре рубля... нигде не брали. Пришлось расширить поисковый круг сбычи краденого. Не брали, козлы, нигде. А часы были хорошие, старинные, с нежным таким боем, без истерики...

Нарезав дурные круги, пьяненький, неосознанно вернулся в родимое ПТУ и, шатаясь, по узеньким слепым коридорчикам забрёл-таки в незнакомый прежде директорский кабинет. Да и что там было делать прежде, во время учебного процесса?

И кабинет незнакомый, и директора не шибко помнил, и вообще...

*«...эка водочка хулиганила,
Зрак запойчиком припоганила...»*

В полутьме кабинета, не признав с недоперепою директора, два часа тому назад лично вручившего ему, уже весёлому, диплом об окончании курса сварщиков, предложил часы за трояк...

«Бездельник без денег» – рифма бескрылой правды...»

Директор опупел и набычился. Что было принято Великим за начало торга. Надувшись для приличия и скорчив рожу, сбавил цену. Просил 2р.87коп. – сакральную цифру советских времён: полкило водки...

*«Чтой-то друзья застрадали запоями,
Чтой-то пошло непонятное тут,
Ой, закуплю я бухла, и завою я,
И побреду на последний редут...»*

Что характерно, директор даже не закричал, не вызвал милицию. – Часы-то по факту находились в здании, следовательно кражи, как таковой, не было! Попытался только отобрать диплом, но... но тут до Великого допёрло.

Схватившись за сердце (там в нагрудном кармане похрустывал новенький диплом), бросив часы на стол директора, рванул по коридорчикам прочь...

...заблудившийся запой...

Время очнулось и двинулось далё – легендарные часы продолжили на родной стене ПТУ старинный свой, нежный, размеренный бой для новых и новых поколений...

Пока не грянула перестройка и не прикрыли к свиньям собачьим все эти великие заведения, кузницы молодёжи...

Так осуществилась первая, самая натуральная *«Польза вреда»*. – Общественный вред для всей великой страны (закрытие кузниц молодёжи) в этом случае обернулся сугубо личной пользой для Великого. Получается так, что едва не угодив в кутузку за кражу казённого имущества, старинных настенных часов, он, благодаря этому, зарёкся, во-первых: учиться чему-то наспех, особенно нелюбимым и опасным предметам, а во-вторых: не совершать судьбинные (читай – любовные) поступки не обговорив заранее конкретные условия предполагаемого предприятия. Как в случае с Тонькой, не пообещавшей внятно ничего, а только туманно ему кивнувшей. В итоге безоглядный бросился опрометью в опасную полынью, в огненную профессию, которая сильно подкосила зрение. Про знаменитые дедовские очки-велосипед, которые он вынужден был вследствие всего этого возружить на утиный свой нос, речь ещё впереди. А сейчас... сейчас резюме: хорошо ещё, что не лишился тогда вовсе очей! Впрочем, это было бы ещё более очевидное доказательство пользы вреда, но... больно уж беспощадное.

Из цикла **«Наблюл»**:

«Человек разваливается на ходу. Зубы выпадают, волосы редют... а он – смеётся. А почему? А потому, что чувствует – бессмертен...»

*«...в эпоху, под названием «Рекламная пауза», было...
Ничего не было».*

* * *

«Круговорот денег в глухом селе. Круговорот замкнут. Все уже выучили номера купюр. Меняются „фантиками“, смеются...»

«Жить не оскотинясь, в столице нельзя. Жировать, глядя на глубинку? Выход один – оскотиниться. Оглохнуть. Ослепнуть...»

«...в черном окне извиваются белые черви. Свадьба. Музыка. Ночь...»

Отрывок. Непонятно о чём. Целиком не обнаружено:

«...финотчёт сдал. В любви объяснился. С министром поговорил. Жене наврал. Был невразумителен. Везде...»

«Это было в состояниии... в отсуствии состояниия...»

Шорох листьев

«...и везде-то он побывал, и всё-то он повидал!..» — вспомнилось из анекдота, когда в очередной раз я перелистывал остатки архива, страницы жизни Великого. Когда наткнулся на отрывки воспоминаний, которые назвал «Шорох листьев».

Безусловно, удача для потомков, что всё... ну, почти всё... ну, очень, очень многое увиденное и услышанное здесь, на земле, он записывал, словно готовил драгоценное Я, неудавшееся, не полностью проявившееся во временном континиуме, перенести в вечное. Туда, где во всей полноте поймут, наконец, и оценят вполне подвиг. Подвиг жизни...

«Шорох листьев не е...т!..»...

«Шорох листьев не е...т!..»...

«Шорох листьев не е...т!..»...

Откуда это, из осени? Как бы ни так! Из весны...

В 70-х годках двадцатого века Великий после школки решил помотаться по стране, попробовать профессии, потрогать своими руками, как тогда говорилось, «жись».

Лет пять мотало по колхозам, стройкам, поездам. Поработал сварщиком, экскаваторщиком, в проводниках побыл... много чего перепробовал.

Занесло в бригаду асфальтировщиков...

«...наконец-то дохнуло асфальтом,

Майский ливень продрал синеву,

И земля, точно плугом отвальным

Взрыхлена, отпустила траву,

И вздохнула...

Но всех ненасытней,

Всею зернью, всей алчностью жал,

Точно чёрное сердце пустыни,

Этот мокрый асфальт задыхал,

Истемна распахнувшейся былбю

Задыхал, растомясь в глубине

*Человеческой, тёплой пылью,
Утрамбованной в чёрном зерне...»*

Об этом периоде жизни Великого остались разрозненные записи, воспоминания. Наиболее внятные куски, например «**Шорох листьев**», приводим почти полностью:

«...жили бригадой за городом, в бараке. Май выдался тёплый, асфальтировали громадный, только что выстроенный птичник, сулящий завалить страну высококачественной индейкой. Куда потом девалась чудесная птица – птичник-то был готов к сдаче – вопрос...

Работка горячая, с раннего утра, по десять часов кряду. – Асфальту нельзя дать застыть. Вот и уламывались, пока шли машины. Молодые, здоровые...

В бригаде семеро. Ребята из рабочих слободок, книг почти не читали.

Выискался, однако, «интеллигент» – Витя. Недавно откинулся, но был удивительно гладок, упитан. Кругломордый, добродушный, юморной мужичок, уже женатый, в отличие от всех нас.

Непохоже, что сидел на казённых харчах, рожу отъел такую – на воле не каждый отъест. Да, пожалуй, и не сидел. Даже в зоне умудрялся жрать от пуза. Земляк-начальник не только приладил к пищеблоку, заведовать тюремной библиотекой усадил. Витя пристрастился к чтению...

Ну вот, после смены, бывало, развалимся всей бригадой на койках, и айда травить байки. А Витя – нет. Он КНИГУ читал. И нас, дураков, между прочим поучал. Как старший и прошедший лагерь. И нас поучал, и заветы будущему сыну заготовливал – жена была на сносях.

«Вот, к примеру, – многозначительно начинал Витя – понесет мой сыночек бревно на субботнике, а я ему подскажу – первым под бревно не становись. И средним не становись...

Становись последним.

Двое понесут бревно, а ты на нем повиснешь... даже и на халяву ещё прокатишься. Передние не заметят, а тебе – прибыток. Обманул. Проехался задарма...

И в трамвае места не уступай.

Твоей матери, когда брюхатая была, много уступали? Си-идит себе здоровенная старушеница, а мать твоя, считай, уже на третьем месяце была!... Думаешь, уступили?..

Вот и ты не уступай.

И на лирику всякую плюнь. Дуй по главной линии, в лес не сворачивай...»

Много чего проповедовал Витя, толстые пятки задрал на спинку железной койки. Философ, пусть и домашний. Самобытный.

А уж как он КНИГУ читал, как читал – песня!.. Пузатая, без обложки и заглавия, но со штемпелем библиотеки спецучреждения книга.

Как он её читал, как читал!..

Слюнявил загодя палец, и начинал «процесс». Читает, читает, внимательно читает... а потом как пойдёт слюнявым пальцем отхлестывать страницы – только свист, не шорох даже...

Отхлестнёт с десяток страниц, и снова притихнет. – Читает.

А потом опять вдруг заслюнит палец, и – пошло!...

А сам приговаривает при этом: «Шорох листьев не... колышет (другой тут, понятно, был глагол), шорох листьев не колышет... шорох листьев не колышет...»...

Шорохом листьев называл всё, что не относится к сюжету, активному действию книги. Шорох листьев – любовные переживания, раздумья героев, переливы душевных волнений, лирический трепет... и, конечно, описания природы.

Шорох листьев, короче.

А коли вдуматься, шорох листьев – почти всё, из чего состоит великая литература. Без «шороха листьев» русская классика немислима. Может, иная где и мыслима, русская – нет. Да и Русский Лес, однако...

Укоряю Витю? Паси Бог. У Вити «понятия». На клеточном уровне, по понятиям жил Витя. И вообще, давно это было.

Так давно, когда читатели «шорох листьев» ещё не выметали из книг, из жизни. Когда была жизнь...

Прошли десятилетия, ось времени повернулась, «зона» вышла на волю. И – пошла диктовать «понятия». Воля оказалась на зоне. В политику-экономику пришли «интеллигентные вити». Осталось голимое действие. Фабула. Сюжет... Жизнь?

Какая, на фиг, жизнь! Фуфло. Жизнь – «Шорох листьев».

И чуть ниже отрывочек в стихках:

*«...цена человеческой жизни копейка.
А ты из копейки поди-ка, сумей-ка,
Сложив, перемножив ли, вырастить Рубль!
Тем паче – валютный... а люди...
Что люди?
Ротатор в работе, истера на уде,
Покрутится «матрица», свертится дубль...»*

Жизни его не поняли

«Дубль конгенциальности эпохи Большого Стиля в кинематографе, это: «Пепел и алмаз» и «Коммунист», два великих фильма с великими актёрами!..» – уверял себя и других Великий, и продолжал «на салфеточках» – «...и даже в названиях фильмов два пути: Путь Польши и Путь России. Но...

Мы пулю в г... превратили... – грустно пел Великий. И ещё грустней добавлял: были Строители, стали «застройщики»...

*«С Севера – сырые, босые,
С Юга, с Востока – раскосые,
С Запада – взгляды косые...
Россия...»*

По России мотало Великого долго. И по стройкам, разнорабочим, и проводником в поездах. Разные люди встречались. Лица менялись, погоды, пейзажи. Не менялся только он один. Как был очарованным, так и остался. Всегда, везде, в любых ситуациях.

И всё же поняли встречные главное: Великий прост, чист душою. Не столько даже поняли, сколько почували – тут что-то иное... таких вообще не бывает. Но вот, встретился, однако ж, и видно его всего насквозь, точно ягоду белого винограда на просвет: тёмные там только косточки, а всё остальное светлое, прозрачное, ясное...

Понимали, такое не поддаётся ранжиру, но определить простым словом Неандерталец не осмеливались. А произнеси слово – и вот она, суть...

*«Провонявший корвалолом,
Брёл я лесом, брёл я долом,
Корвалол, корвалол
Мягко сердце проколал...»*

...и задал однажды молодой советский идиот молодым же, но сильно уже траченным в знаменитой пивной завсегдатаям дремучий, мохнатый вопрос. Взойдя на любимую кафедру – верхнюю ступеньку пивного зала – спросил тихо и сладкоголосо: *«Что есть самое эротичное место в теле? Отвечай, кто знает!.. Молчите, профаны? Не знаете, потому и молчите! А если знаете, совсем не то. Расхожее знаете. А я назову подлинное, хотите?..»*

Зал, безусловно, хотел. Всегда хотел, особенно подлинного и, как всегда у Великого, непредсказуемого. Хотел и получил:

«ГОЛОВА!»

– *«Почему голова, спросят тупые? Самое волосатое место!..*

Для наитупейших изъясняюсь учёно – центральная нервная система, находящаяся в голове, подаёт тому, о чём вы пошло подумали, эротические и силовые сигналы. Именно голова. Остальное – физиологический акт. Механика любви, так сказать. Вот...»

Пивная захлопала, а потом, естественно, захлопала недопитым пивом, зачавкала недоеденной рыбой и замахала Великому: подходи, мол, угощайся. Хорошо, мол, наблюл. Заслужил, рванина, поправь голову...

Из «Наблюдизмов»:

О мужике, затюканном бабами — жёнами, тёщами, дочами:

«Жизни его не поняли!..»

И – резюме:

«А не надо пугать мужика!..»

О «датском» поэте:

«...и – наступил на горло собственному пенису...»

Из творческих задумок Великого:

«Антиповесть: «Крест и выкрест»

Генофонд

Крещён был Великий. И вдруг сказался выкрестом. Так, запросто: стал однажды по недопьяне уверять, что – еврей...

Я обалдел:

– *«Как? Ты ж русский был всегда!..»*

Посасывает, гад, «бармалея» из горла, бубнит:

– *«Еврей, еврей... русский всегда еврей... мессианский... русский... еврей... только не знает... а я знаю, я знаю...»*

Разозлил, гад, надоел. Спрашиваю у матери:

– *«Он что, правда еврей?»*

– *«Правда»* – говорит.

– *«И отец еврей?»*

– *«Отец русский»*

– *«А вы?»*

– *«И я русская».*

Тут уж я расписовался, ору:

«Так какой же он, к чёртовой матери, еврей?»

Мать, переворачивая оладьи на сковородке, спокойно так отвечает:

– *«А вот такой он... отец русский, я русская, а он – еврей...»*

И всё без малейшей усмешечки.

– *«Да пёс вас поймёт, семейку вашу хренову!..»* – вскричал я тогда. Молча. И молча же себя успокоил:

– *«Выкрест ты, гад... хамелеон, вот ты кто... ха-милль-ён...»*

О многом задумывался Великий. Но вот беда, систематичности в разрозненных записях не было. О чём и пришлось ему как-то сказать. Высокомерный, надул губы, выкатил карий глаз... и презрительно, вращая жечку эдак, пропел:

«– А Розанова ты читал?.. А не он ли самый великий? Самый русский философ?..»

Пришлось промычать нечто невразумительное, вроде: на Розанова всякий дурак сослаться ныне горазд, прикрывая малообразованность, эклектичность свою. Ответ был дивно лаконичен:

– *«Сам дурак!..»*

– *«Гы-ыы!.. надыбал у философа – задумчиво молвил Великий, вваливаясь в дом, не гаркнув при этом опосля знаменитого «Гы-ыы!..», не вякнув, хотя бы вполслуха, ни «Приветик», ни «Здрасьте» – ввалился и задумчиво продолжал: у него, у философа, Эклектика — системно (или, может, бессистемно?) образующая основа фундамента... чего бы ты думал?.. фашизма, блин! Это как понимать?..»*

Ну, я-то понял – продолжал высокомерничать Великий — а другие? Фашизм... это – фаши, пучок, стая. Волчья стая... нет, давай лучше – просто пучок. Пучок прутьев, короче. Из прутьев собирается веник и – айда мести по округе! А ежели кто против, тут же крик: «Я те щас та-акой метлы дам!..». Понял, короче?

Эклектика, это разбросанные прутьики. Из них собирается метла. Вот те и весь фашизм. Причём тут, в слове «Эклектика» слышится клетот, и некоторое даже презрение – сквозь клетот. Второй сорт, якобы. Ну а Синтез? Принцип-то один – собирание! В фокус, в тот же пучок собирание. Синтез, что это такое, почему его уважают, а эклектику нет? Ты как думаешь? Синтез уважают, эклектику нет. Нет, я что-то запутался...

Но ведь и тут, и там – один принцип, принцип разбросанности, а потом и собирательности в основе. В Эклектике – хаотический, якобы иррациональный, в синтезе

*– упорядоченный, якобы системный... вот и вся разница. Но если фундамент любого построения формируется из эклектики, так ведь там же и краеугольный камень будущего здания заложен, в основание здания, так? – «Так!» – с беспрекословной уверенностью рек Великий. И пошёл по диалектике: – «А само здание, выходит, это ничто иное, как его превосходительство уважаемый всеми, особенно учёными – **Синтез?** Так почему, я спрашиваю тебя, почему господин синтез уважаем, а его подоснова, госпожа эклектика, нет? Почему? Это же Фун-да-мент, вот что это такое, это ж основа, блин!..» – Возопил Великий.*

Вопль повис в небесах. Я молчал, поняв нутром, что именно его возмутило. Но Великий сам, поутихнув немного, горестно молвил, как несправедливо обиженное дитя:

– Эклектик... я знаю... я сам эклектик... вот потому, вот почему... но какой же я, на хер, фашист? Разве я потяну на фашиста? Не-е, не потяну. Чегой-то не того тут, не в ту степь езда туточки, братцы...»

И ещё отрывочек нашёлся, на ту же тему. Видать, зацепила...

«Эклектизм, вездесущность – путь нейтринно. Земное усилие освободиться от гравитации, смертности, массы. Устремлённость стать в мирах сквозистым, свободным нейтринно. Всё видеть, всё слышать, не зависеть от пространства-материи-времени, проникать всюду, куда хочется, быть вселенским цыганом.

– Путь кочевника в мирах!..»

Из записей и планов Великого:

«Относительный герой». Сумасшедшая мысль о таком герое, который как бы есть, и в то же время его как бы и нет. Ну вот, например – движется повествование, основные (настоящие) герои действуют, влюбляются, конфликтуют и т.д., в общем, совершают всё то, что положено обычным героям. Но иногда возникает сквозь ткань романа некая отвлечённая, добавочная, придуманная фигура, как в математике принцип дополнительности. Это чудище, этот «относительный герой» начинает нести ахинею, вмешиваться в сюжет, вякать свои «квак-чвяк», «хурр-муррр», «правая-левая полоса», «Небо сильное-сильное», «гу-гуу» – и т. д. То есть, воеет-подвывает абсурдная природа, подспудный, задавленный мир пращуров. В этом вое просматривается иная, тайная правда, которую не могут выразить основные герои. Может только «относительный», дополнительный герой, возникающий как бы со стороны.

Выглядит «относительный герой» примерно так: белая полу-лягушка, полу-тритон. Он умеет возникать из ничего (по ходу действия), вписываться в сюжет, и – тут же отчуждаться, исчезать на глазах. Вроде бы нечто чуждое, ненужное человеку...

Ан нет. Тут просматривается какая-то хтоническая тяга – некое ОНО тянется к человеку, благоволит ему, основному герою. Особенно тянется к дураку, к ребёнку, к великану... «корректирует» их...»

Из фантастических проектов Великого:

«Собрать всех гениев земли, отправить на необитаемый остров и создать из них супер-человечество... какой кайф!»

А что? Пусть даже гениальных баб меньше, чем мужиков. Ничего. Перелюбят, а там, глядишь, народится супер-раса.

Ага! Народилась...

Миллионы генов решат по-своему. Не по-гениальному, а по – Памяти. Родится из двадцатого поколения бандит... из десятого жулик... из второго чёрт знает что...

Память – вещь загадочная. Знаем, душа бессмертна. Почему знаем? Знаем, и всё. Почему о Памяти ничегошеньки не знаем?

В итоге ни супергениев не вылупится, ни обычных... а так, нечто среднестатистическое. Комбинацию гениев создать может лишь Тот, Который создал мир. Но почему же не создал гениальных и красивых сплошняком, соседа к соседу? Да читали мы всякое разное... «банки спермы», лауреаты какие-то...

*Ну и что, где они, супергении? Да ни фиги! Из обычных и то чаще феномены рождаются. Почему? А потому что **так**, наверно, нельзя... но – **как** можно?*

А вот так: отстрадать. Всем своё отстрадать. Здесь, на земле, в этой, а ни в какой иной субстанции. Отстрадать своё.

Да, вот таким вот – «корявеньким», а не каким-то там «грядущим», «супергениальным», из пробирки вынутым, штампованным на «спецпотоке»... или, как там, на «спермопоток» поставленным, – не им, а «корявеньким» своё отстрадать положено, а потом уж, может быть, и взойти, и ступить чуть выше... по лестнице...»

Великие думы думал Великий. Возможно потому, что думал о себе настолько велико в невеликом мире, что не мог «разлепить» несколько своих **Я**, и путался в них. Путался, путался... и не смог до конца распутаться. А, впрочем, кто смог? Тайна мрака.

Глянуть бы на такого, распутавшегося...

Нашлись среди бумаг отрывочки о поисках Великого... о поисках —
САМОГО СЕБЯ. Восстанавливаем по возможности, наиболее внятно:

«Чёрный ящик. Эта механика и в человеке скрыта, и от человека. Ящик записывает тайное (что когда-то станет же явным!). Фиксирует разговоры души с людьми, с Богом, с самим собою. В отличие от ящика, скрытого в самолете, этот не подлежит предварительной расшифровке, даже в самой «полномочной инстанции». Не то ведомство. Не отсюда. Этот прямиком – ТУДА.

Но в глубине-то души каждый ведаёт, где вильнул хвостом, где был низок, где благороден...»

*«...по земной резьбе донёсся ржавый скрип,
Там выкручивался тяжело свежий гриб,
И натужась, двинув дюжее плечо,
Вышел весь – растелешился горячо,
И красуясь свежей мощью, белизной,
Ослепил весь помрачённый шар земной,
И увидел посрамлённые века,
Белобокие раздвинул облака,
Сдвинул Бога!..
И увидел – грибника...»*

Великий о поверьях:
«Хорошего человека надо съесть»

И комментарий:

«Это доброе поверье. Хорошее поверье. Народ зазря не вякнет...»

«...высказать своё тайное самому себе трудно. «Чёрный» ящичек мотает плёночку, «пишет»... а на поверхность не выдаёт. Нарушения этого принципа крайне редки, и случаются, разве что, в творчестве. Только здесь, на взлётах в горнее, а также погружениях во тьму выдаётся иногда предварительная информация. – Из секретного ящичка, из пучин бессознательного. Но даже у гениальных не рассекречивается полностью. Кое-что всплывает, выплывает, видится... в нарушение правил.

Правил приличия?..»

Из «Выкликов» и «Грезифарсов» Великого:

«...Россия – сборище душевнобольных. Очень души болят у людей.
Наверное, нигде так не болят, как в России...»

«Судят в основном за инстинкты. То есть, за неумение их сдерживать. То есть, за искренний порыв вернуться к е с т е с т в е н н о м у состоянию человека, к самой природной сути его натуры? Что-то здесь не того-то...»

* * *

«Молчуны в эпоху гласности,
Тугодумы, чьё словцо
Не к лицу парадной ясности,
Пьют дешёвое вино...»

«...добрых – больше...»

«Я жизнь свою провёл под идеалом,
Как монумент, покрытый одеялом.
Его сорвут, когда придёт пора,
И грянет площадь дикое «Ур-ра!..»»

«...некоторые – урчат».

– «Все морщинки – от мущинки!..»

– «А морицинки от мошонки?...»

«... – Мужеловка!..

– Мыщелка!..

– Пережабинка!..

– Чмо!..

.....

– А ты почему меня ударил?

– А потому, что ты дура!..»

Дивные, дивные перебраночки...

«Не красна изба углами,

А прекрасными полами...»

– «А какое ты право кричать на меня имеешь, если за всю нашу жизнь я тебе слова доброго не сказал!?!»

– «Спа...»

Статья: «Изнасилование по обоюдному согласию».

Срок: «По взаимному изъявлению потерпевших».

...и возопил однажды Великий, любимец и чемпион знаменитой пивной, затопал ногами, когда не налили положенные по обычаю пары пива за лекцию:

«Да, меня любят!.. Таких, как я, всегда любят. Только почему такие, как я, всегда платят за всё и за всех? И почему так редко платят таким, как я? Платоническая любовь – не в счет!..»

Вопль был стратегический. Великий успел понять: публика уже настолько привыкла к нему, и даже полюбила его выступления, что не сможет устоять перед тем, за что особенно полюбила. А именно за корявенькие, но предельно искренние вирши о спиртном. Куплетик подходящий был заготовлен, и он провыл:

«Я – не истукан!

И полный стакан

Поднять я хочу

И выпить.

Он ведь нам по плечу?

Выпить хочу.

И вы ведь?..»

Вопль был удовлетворён. Выпивка оприходована. Здоровье поправлено.

В церкви ничего не жалко

Поправлено было кое-что и в судьбе Великого... ещё как поправлено. Несмотря ни на что, благоволила судьба. Изредка, правда. Не только мучила и глумилась, но и благоволила. Хотя чаще глумилась. А почему, зачем?..

Велика тайна.

Подвернулся знакомый в пивнушке, инженер-сейсмолог. Товарищ недавно женился, молодая жена очень неудовольствовалась подозрительной службой мужа, ночными дежурствами в подвале многоквартирного дома, где располагалась районная сейсмостанция. Особенно не нравилась домашняя обстановка служебного подвала: ванная комната, шкаф-стол-стул, холодильник... наиболее опасной показалась кровать в рабочей комнате, рядом с приборами, датчиками.

Невозможно было доказать необходимость для человека мытья, перекуса и сна в ночную смену. Последовал ультиматум: или я, или *такая* работа.

Рогатива была серьёзная – и жена ещё не опостылела, и зарплату терять не хотелось. Тут-то и подвернулся Великий, в очередной раз покинувший родимый дом и ночевавший где придётся, чаще всего на вокзале.

Рогатива преобразилась. Стала уже не двойкой, а тройкой, если учесть «жалованья-подавья», которое благородный товарищ инженер выкраивал из семейного бюджета, втайне от жены. На пропитание товарищу.

Великий, конечно, с радостью принял условия. А что? Опыт полевой и камеральной работы имелся, снимать показания датчиков, а потом сдавать их всё тому же товарищу для отчётности в конторе не составляло труда. Подвальная квартира с удобствами радостно покрывала все неудобства временного бездомья.

Жилищный вопрос решился. Мало того, благородный товарищ не только жратвой снабжал, ещё и «премиальные» с полочки подбрасывал, время от времени.

На бормотушку... ну и так, по мелочам...

Завалился Великий в подвал. Делов-то: трижды в сутки снять показания датчиков, и – спи. Или пей. На выбор...

Вчерашний неудачливый самоубийца выбрал второе – смертный пой. Решил бескровно доканать себя алкоголем, уж коли не вышло кровно. И пил, подпольщик, круглые сутки... в кратких перерывах, правда, не забывая черкать в бессмертных тетрадках сагу о непонятой всеми, о великой своей, никчемной своей жизнёшечке...

И допился до «белочки».

Из заплачек:

*«...одинок я, одинок
В море мира, как челнок.
Много в мире одиноких
Между рук плывёт миног.
Где же я не одинок?
Где минога из миног?
Где надежда, что однажды
Вспыхнет счастье между ног?..*

*...есть минога между ног!
Есть и «рашпиль», и «станок»,
Есть такая, ну, такая...*

Вот где я не одинок!..»

Смотрю как-то, решив навестить Великого, выполз он из своего подвала, и – бегают от одного до другого подъезда. И всё кого-то словно бы ловит, высматривает... меня не замечает. Стою себе, наблюдаю дивную картину, пытаюсь хоть что-то понять...

А тут же, во дворе, сидят себе посиживают бабульки на лавочке. Те самые, которые всё знают, всё понимают, и ничему в этой жизни уже не удивляются. И спокойненько так комментируют:

– Во, допился, чертей гоняет!..

Из песенок-чудесенок:

*«...а ты прости бухарика,
А дай ему сухарика...»*

Я потом спросил – какие они из себя, по цвету, по размеру, какие они, черти? Великий рек: большие и красные.

Странно. Другой мой дружок-беделога уверял: маленькие и зелёные. Любят по ковру ползать... послать в магазин за бутылкой...

– Им-то зачем?

– «Знаешь... я думаю... они такие маленькие, что им хватает даже капелек водки, которые сползают по усам, хватает даже испарений от этих капелек...

Вот, знаешь, недавно сидела тут у меня седая старуха, за столом сидела – незнакомая, косматая. Я уже проснулся, а она всё сидит, и что-то в тетрадку пишет... страшная такая, незнакомая...

– Чего тебе, зачем пришла? – спрашиваю.

– Сходи за водкой!.. (а уж ночь на дворе), сходи, говорит, скорее, а то – *запишу!*. Вот сюда, в тетрадку запишу!..

Не иначе, подосланная старуха была. А как же, *ими-то* и подосланная...

Ну и сходил, а как же...»

У Великого черти были не маленькие. Огромные!

Из «наблюдизмов»:

*«...старик стоял, блюдя приличье,
Перст возносил в толпу и – ввысь!
Весьма кренился вбок при этом,
При этом же вещал, стращал и вопиял,
И, как ни странно, не терял при том обличье,*

*Но был взлохмачен, огнен, юн...
Весна!
Он жил опять амбивалентно,
Он знал, он знал, что старость турбулентна,
Старик-смутьян!..»*

Из «философской» тетрадки

«Смысл жизни порою предельно отчётлив. Когда хорошо выпьешь. Отчётлив до изумления – да как же я раньше этого не понимал?..

Не меньшее изумление вызывает утреннее воспоминание о том состоянии, в котором отчётливо виделся этот самый смысл. Ты ещё помнишь, что с вечера был он, был смысл жизни! И ясно виделся, почти осязался... а, наверное, и в самом деле осязался – всем твоим радостным существом! Где теперь? Куда подевался?

...но невозможно же бесконечно пить, быть бесконечно радостным и, главное, – осмысленным в жизни! Спятишь от осмысленности...

Чего осмысливать-то? Мир? Жизнь? Непреложную данность? На фига.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.